

ДЖОРДАНО
БРУНО



О ГЕРОИЧЕСКОМ
ЭНТУЗИАЗМЕ





Джордано Бруно



ГЕРОИЧЕСКОМ
ЭНТУЗИАЗМЕ

Перевод
с итальянского



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1953

Перевод прозаического текста Я. Емельянова
Перевод стихотворений Ю. Верховского (41–70),
А. Эфроса (1-40; 71–74)

Предисловие

Джордано Бруно — один из замечательных итальянских мыслителей Возрождения, эпохи, о которой Энгельс писал: «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов...» [\[1\]](#)

Великих людей Возрождения отличали многосторонность интересов и неутомимая деятельность в различных областях науки и искусства, страстность и полнота характера. Эти качества развивались в обстановке решительных сдвигов и революционных изменений в экономике, в социально-политической и культурной жизни общества. Возрождение, начавшееся в Италии во второй половине XIV в. и охватившее другие страны Западной Европы в конце XV–XVI столетия, было периодом интенсивнейшего развития капиталистических отношений в недрах феодального строя. Первоначальное накопление, которому во многом способствовало открытие новых земель и сопутствующее ему ограбление колоний, дало толчок развитию торговли и промышленности; ремесло уступало место мануфактуре. Борьба городов, а затем и целых государств за «национальные вольности» и широкие протестантские движения сломали диктатуру римско-католической церкви, которая объединяла феодальную Западную Европу в одно политическое целое и препятствовала развитию капиталистических отношений и формированию национальных (буржуазных для того периода) связей в странах Западной Европы. С другой стороны, было положено начало ликвидации средневекового партикуляризма— раздробленности, связанной с феодальной анархией; королевская власть при поддержке горожан сломала мощь феодального дворянства. Возникшие в этот период абсолютистские монархии — новая форма централизации и политического устройства — были, как отмечает Энгельс, «в сущности основанные на национальности» Они обеспечивали развитие буржуазии на более широкой, чем средневековый город, национальной основе.

В этих условиях происходила напряженная борьба зарождающейся новой идеологии с феодально-католическим мировоззрением. Наука и

искусство, сбросив гнет богословия и схоластики, достигли невиданного до того расцвета. Ученые Возрождения обратились к изучению реального мира на основе нового, эмпирического метода познания. Объектом науки стал, по выражению Галилея, «чувственный мир» (*mondo sensibile*), а не «мир бумажный» (*mondo di carta*), не сочинения Аристотеля, где «Поповщина убила... живое и увековечила мертвое» ^[2] и толкованием которого подменялось изучение природы. Великое открытие Коперника (гелиоцентрическая система) положило начало освобождению естествознания от теологии. Развитие естествознания было тесно связано с новой философией, многим обязанной трудам итальянских мыслителей — Телезио, Кардано, Бруно.

«Как вся эпоха возрождения, начиная с середины XV в., так и вновь пробудившаяся с тех пор философия были в сущности плодом развития городов, т. е. бюргерства. Философия лишь по-своему выражала те мысли, которые соответствовали развитию мелкого и среднего бюргерства в крупную буржуазию», — писал Ф. Энгельс^[3]. Действительно, великие деятели Возрождения способствовали установлению господства буржуазии. Но сами они не были буржуазно ограниченными, их мысль нередко вступала в противоречие с общественной и частной практикой буржуазии. Все это объясняется тем, что гуманистическая культура складывалась в атмосфере широкого движения народных масс города и деревни, выступавших не только против феодализма, но зачастую и против частной собственности вообще.

Великие борцы за прогресс эпохи Возрождения не останавливались в своих бесстрашных поисках истины перед обобщениями и выводами революционного характера, ломающими весь строй традиционных представлений. Их борьба против феодальной идеологии, католицизма и схоластики, за утверждение нового мировоззрения отличалась самоотверженностью, твердой верой в силу и торжество науки, вдохновением, которое Бруно назвал «героическим энтузиазмом». Материалист и атеист, бесстрашный обличитель католического мракобесия и страстный проповедник новых, революционных идей, Джордано Бруно был сам ярчайшим воплощением этого «героического энтузиазма». В сознание прогрессивного человечества он вошел как символ подлинной смелости научной мысли.

В отличие от некоторых других выдающихся деятелей Возрождения Джордано Бруно пришлось жить и бороться на последнем этапе Возрождения, в обстановке феодально-католической реакции, начавшейся в Италии с 30-х годов XVI в. Дальнейшее развитие философских и естественно-научных принципов, выработанных Возрождением, в условиях реставрации феодально-католических порядков требовало от сторонников прогресса напряжения всех сил, огромной моральной стойкости. Это был период суровой проверки их закалки и принципиальности. Именно в это время появилась необходимость в постановке проблемы «героического энтузиазма», ее философско-этического обоснования, так как речь шла о мобилизации всех сил, верных делу прогресса и способных противостоять реакции. На долю Бруно, одного из самых стойких борцов науки, которого отживающий мир преследовал с наибольшим ожесточением, выпало стать теоретиком и певцом «героического энтузиазма», как определенной нравственной нормы. Особенно нуждалась в этом такая страна, как Италия.

Несмотря на то, что Италия первой вступила на капиталистический путь развития и была родиной Возрождения, — реакция началась в ней раньше, чем в других странах и была крайне жестокой. Дело в том, что итальянская средневековая буржуазия в силу своей исторической слабости не смогла преодолеть католического космополитизма и муниципальной раздробленности и организовать единое национально-территориальное государство. Италия не знала той формы политической централизации, которая утвердилась в ряде других стран Западной Европы в эпоху Возрождения. Папство, выступая в роли «собирателя» итальянских земель, по самой своей космополитической сущности не могло и не хотело создать монархию, «основанную на национальности». Этой цели не могли служить и итальянские синьории (тирании), которые пришли на смену городским республикам, после того как демократия коммун была подавлена. По своему происхождению и политическому характеру синьория (тирания) радикально отличалась от абсолютизма. Если возникновение абсолютизма (во Франции, например) было вызвано борьбой буржуазии против феодальных классов, в которой буржуазия до известных пределов объединялась с городской беднотой и крестьянами, то синьория, напротив, представляла собой диктатуру, направленную против городской бедноты.

Не являясь единым централизованным государством, Италия не могла выступить как могучая держава, способная отстаивать интересы своей буржуазии за рубежом. Она не смогла, в частности, принять участие в организации великих географических открытий XV–XVI вв. (хотя и Колумб и Америго Виспуччи были итальянцами, свои открытия они сделали, состоя на службе у испанского и португальского абсолютизма). Вследствие перемещения торговых путей из Средиземного моря на Атлантический океан Италия потеряла свое экономическое могущество, а вслед за тем и национальную независимость, сделавшись добычей Франции и Испании. Итальянская буржуазия перестала заботиться о развитии торговли и промышленности, предпочитая помещать капиталы в землю. Начавшийся процесс рефеодализации итальянского общества сопровождался католической реакцией. Ее разгул был тем сильнее, что Италия эпохи Возрождения не знала широкого протестантского движения, а ее культура (в особенности итальянский гуманизм) развивалась в отрыве от народных еретических движений, вспыхивавших в отдельных областях. Католическая церковь и инквизиция беспощадно подавляли свободную мысль Возрождения. Была введена жестокая цензура, церковь составляла списки запрещенных книг, внося туда все наиболее ценное, что было создано эпохой Возрождения.

В обстановке бешеного наступления феодально-католических сил завершилась эволюция итальянского гуманизма, вступившего в полосу своего глубочайшего кризиса. Итальянский гуманизм в это время развивался в стороне от социальных и культурных запросов народа. «Гуманизм в Италии, действительно, не развил того, что в нем было наиболее оригинального и обещающего», — писал крупнейший итальянский теоретик-марксист Антонио Грамши.

«Мир нынче полон отступниками», — с горечью и гневом восклицал Бруно в своем «Героическом энтузиазме». Тяжесть духовного террора и репрессий обрушивалась в особенности на тех мыслителей, которые опирались на достижения естествознания и были связаны с передовыми течениями общественной мысли. К этой категории принадлежал и Джордано Бруно.

Бруно родился в 1548 г. в городе Нола, близ Неаполя. Отец его был солдатом, мать крестьянкой. Первые столкновения Бруно с воинствующим католицизмом произошли еще в доминиканском

монастыре в Неаполе, куда он поступил пятнадцати лет с целью воспользоваться богатствами монастырского книгохранилища для расширения своего образования. Бруно читал там не столько теологов, сколько антифеодальные и антиклерикальные памфлеты гуманистов, и он сам сочинял сатиры на святош и педантов (поэма «Новый ковчег», комедия «Подсвечник»). Бруно отказался от преклонения перед авторитетом схоластизированного Аристотеля, одобрительно отзывался о еретическом учении ариан (IV в.)» осужденном церковью. Из своей кельи Бруно выбросил иконы святых угодников, оставив одно распятие. В результате начатого против него процесса Бруно был вынужден бежать из Неаполя в Рим, затем перебраться на север Италии, где он скитался некоторое время, пока ему не пришлось совершенно покинуть страну.

Научная деятельность Бруно представляла большую угрозу для феодально-католического мировоззрения. Его смелые научные гипотезы, являвшиеся дальнейшим развитием и обогащением теории Коперника, опрокидывали догматы христианской теологии и библейскую легенду о происхождении мира. Бруно учил, что во вселенной существует множество миров, а сама она бесконечна; что наша солнечная система не является единственной; что и земля и небо одинаковы по своему составу, что существует материальное единство природы. Бруно говорил о «вечной вещественной субстанции, каковая не может ни произойти из ничего, ни обратиться в ничто, но способна к разряжению и к сгущению, к изменению формы, порядка, фигуры». Материя у него выступает как «живое и активное начало», как «природа рождающая». Бруно не был последовательным в своем материализме, так как не мог до конца преодолеть средневековый дуализм и пойти дальше пантеизма. Он допускал наличие «мировой души» и всеобщей одушевленности природы, хотя «духовная субстанция» представлялась ему — в отличие от христианского бога, стоящего над вещами и материей, — «началом, действующим и образующим изнутри».

Развивая взгляды своих предшественников, Телезио, Кардано и других, Бруно выступал за научное познание реальной действительности на основе ее опытного изучения. Вопреки католическому принципу подчинения мысли теологии, религии, закреплённому решением Латеранского собора 1512 г., и схоластическому принципу двойственности истины (истина веры и истина знания) он утверждал, что истина едина и что ее познание

является делом науки и философии, а не религии. Бруно решительно противопоставил научное знание вере и откровению, и в этом также состояла прогрессивная сущность его учения. Считая раскрытие тайн природы доступным для человеческой мысли, Бруно пытался развить научную теорию познания. Он устанавливал три ступени приближения к истине: чувство, разум, интеллект. Теория познания Бруно не была и не могла быть последовательно-материалистической в силу непреодоленного им дуализма. Высказывая догадку о единой всеобщей закономерности материальной природы, Бруно считал «чувственное, знание», при всей его значительности, недостаточным, поскольку оно не ведет дальше познания отдельных вещей. «Разум» связывает данные об отдельных вещах воедино, но действительное знание, по Бруно, достигается только с помощью «интеллекта». Бруно рассматривал всеобщую закономерность природы не как закон, а как субстанцию, соединяющую в себе «вышую божественную истину, красоту и благо», она пронизывает собою все вещи («бог в вещах») и полнее всего проявляется в самой высокой части души — «интеллекте». Ему и отводил Бруно решающую роль в своей умозрительной, «созерцательной» теории познания, по которой «познающий субъект» путем созерцания отражения «божественной субстанции» в вещах подымается по ступеням «подражания, сообразования и соучастия» к «соединению» с нею. Нетрудно заметить во всем этом черты дуализма, пантеизма и отдельные элементы философии неоплатоников, на которых Бруно нередко ссылается. Однако теория познания Бруно содержала и некоторые материалистические тенденции. Бруно решительно порывает с католической доктриной откровения и учением о «мистическом экстазе» тех же неоплатоников. Для разума человека, писал он, «отнюдь не будет величайшим таинством уставить очеса в небеса, воздеть вверх руки, направить в храм стопы, наострить уши так, чтобы больше было слышно...» Бруно стоит за научное познание, в котором инициатива принадлежит разуму человека, «интеллекту и интеллектуальной воле», прославляет «усердие и исследовательскую мысль человека». Он выдвигает сомнение как исходный пункт познания в противовес схоластико-теологическому принципу «авторитета»; говорит о «чувственном знании» как первой и необходимой ступени; развивает наивно-диалектические высказывания древних греков (Гераклита Эфесского), а также своего предшественника Николая Кузанского о совпадении противоположностей в природе.

Свои мысли, свое учение Бруно облакал в форму диалогов, стихотворений, наглядных аллегорий, стараясь сделать их доступными более широкому кругу читателей. С этой же целью он отказывался от ученой латыни; целый ряд своих философских произведений Бруно написал на живом итальянском языке. Инквизиция считала употребление народного языка в «еретических» сочинениях отягчающим вину обстоятельством, но это также не могло остановить просветительскую деятельность. Бруно.

Научные сочинения Бруно нередко носят характер публицистического памфлета и почти никогда не обходятся без резких выпадов против темных сил реакции. Замечательный пафос высвобождения человеческой мысли из тьмы феодально-католического мракобесия, гордая и несокрушимая вера в силу и победу научных истин обычно соединяются у Бруно с беспощадной критикой «святой ослиности» попов и педантов. Отдельные его произведения специально посвящены этой критике, как, например, «Тайна коня Пегаса, с приложением Килленского осла» (1585).

Бруно нападал на софистов-аристотеликов, на теологов, монахов, астрологов, на реакционеров всех родов, вытаскивал их из темных монастырских и университетских укрытий, уничтожающе высмеивал их в памфлетах, искал случая разбить на диспуте. Это был бесстрашный полемист-диалектик, сатирик с беспощадно острым пером, сыпавший тысячи убийственных стрел на головы противников. Схоласты и попы разных стран, в которых довелось жить Бруно после того, как он покинул Италию, каждый раз, потерпев поражение, объединялись и бешено ополчались против него.

В 1584 г. Бруно выступил в Оксфордском университете (в то время одним из самых реакционных в Европе) с изложением и защитой взглядов Пифагора, Парменида и Анаксагора, опровергая с их помощью космологию Аристотеля. Оксфордские схоласты и теологи быстро добились отстранения Бруно от чтения лекций в их университете. После диспута по физике Аристотеля в Сорбоннском университете, длившегося три дня, Бруно спешно пришлось покинуть Париж ввиду начавшейся травли (1586). В Германии, в Марбурге, ему было отказано в чтении лекций как «неблагонадежному профессору», а гальмштедские обскуранты-лютеране, соревнуясь с католиками, да-же отлучили Бруно от церкви.

Церковь и инквизиция преследовали Бруно, подсылали к нему: наемных убийц. С помощью заговора, обманным путем им удалось, заполучить в свои руки пламенного Ноланца и жестоко расправиться с ним. Венецианский патриций Мочениго, действовавший с ведома инквизиции, пригласил Бруно, прослывшего виртуозом памяти и занимавшегося преподаванием мнемоники, обучать его этому искусству. Бруно страстно хотел вновь увидеть родину; в свободное от занятий с патрицием время он мог бы читать лекции в Падуанском университете, самом старом в Италии; Венецианская республика, которую еще не захлестнула мутная волна реакции и которая через посредство так называемых «знатоков ереси» (*Savii dell'eresia*) контролировала судопроизводство инквизиторов, могла бы обеспечить ему относительную духовную свободу... Бруно принял предложение Мочениго и в 1592 г. возвратился в Италию. Через короткий срок Мочениго передал его в руки инквизиции. Бруно был помещен в известную венецианскую тюрьму «пьюмби», в камеру под свинцовой крышей, нестерпимо душную во время летнего зноя. Инквизиция использовала доносы Мочениго, чтобы начать процесс против Бруно. Бруно был объявлен не только еретиком, но даже ересиархом, главой ереси. Его обвиняли в атеизме, в сочувствии к протестантизму, в прославлении «властителей-еретиков» — английской королевы Елизаветы и французского короля Генриха III, покровительство которых Бруно, действительно, оплачивал посвящением им своих книг и стихотворными панегириками, подчиняясь необходимости и моде того времени. Обвинительные документы особенно много говорят о требованиях Бруно секуляризации монастырских имуществ и об его учении о множественности миров и бесконечности вселенной, нанесшем сокрушительный удар библейской легенде о происхождении земли. Папа Клемент VIII категорически настоял, чтобы расправа над Бруно была произведена в Риме. Венецианская республика сопротивлялась не дольше, чем это было необходимо для ее престижа. 27 февраля 1593 г. Бруно был выдан римской инквизиции. В сопроводительной аттестации он именовался еретиком, который «жил долгое время в еретических странах и вел там самый дьявольский образ жизни». Вместе с тем ради «объективности» венецианские власти отмечали, что «это один из выдающихся умов, какой только можно себе представить; это человек замечательной начитанности и огромных знаний». Процесс Бруно тянулся семь лет. Ни преследования и угрозы,

ни тюрьма, ни пытки — ничто не могло поколебать убеждений Бруно. Последней ярчайшей вспышкой «героического энтузиазма» Бруно был его ответ инквизиторам: «Вы с большим страхом произносите мне приговор, чем я выслушиваю его». Не добившись его отречения, инквизиция приговорила Бруно к сожжению на костре. Приговор был приведен в исполнение 17 февраля 1600 г. в Риме, на Площади цветов.

Свое сочинение «О героическом энтузиазме» Бруно издал в Лондоне в 1585 г. [\[4\]](#).

Этим произведением завершилось издание важнейших работ Бруно лондонского периода, написанных на итальянском языке: «Пир на пепле», «О причине, начале и едином», «О бесконечности вселенной и мирах» и др.

Бруно называет свое сочинение «О героическом энтузиазме» «поэмой», а также «естественным и физическим сочинением». Воспевание героизма, рождающегося в борьбе за научное познание природы, против мракобесия, насаждаемого теологами и педантами, соединяется у Бруно с попытками дать теоретическое обоснование «героического энтузиазма» как определенной нравственной нормы. В своем произведении Бруно пользуется сложной формой изложения, сочетающей стихи и прозу.

Только правильное понимание соотношения поэзии и философии в «Героическом энтузиазме» дает возможность раскрыть идейный замысел, подлинный характер и направленность этого сложного и во многом противоречивого произведения. Реакционные зарубежные философы утверждают, что главным предметом «Героического энтузиазма» является изложение теории познания. Все они в той или иной степени игнорировали публицистические элементы «Героического энтузиазма», все то, что более непосредственно связывает его с историческими общественными условиями эпохи, и принижали также художественную сторону произведения. Они занимались оценкой только теоретических рассуждений Бруно, взятых сами по себе, вне-исторически. Старательно обходя, замалчивая или затушевывая подлинный пафос произведения, его воинствующий просветительский характер, они всемерно раздували слабые стороны гносеологической доктрины Бруно, усматривая основную тенденцию «Героического энтузиазма» в возвращении к идее провидения, к религии и церкви!

Идейный замысел и пафос произведения Бруно состоят прежде всего в том, что он прославляет сознательную самоотверженную борьбу с реакцией во имя прогресса науки. Без этого не может быть правильно понята и гносеология Бруно» изложение которой занимает в книге не только не главное, но скорее подчиненное место. Достаточно прочесть несколько страниц «Героического энтузиазма», чтобы убедиться, что перед нами не только философский трактат. Отправной пункт его — страстное обличение реакции, торжествующего мракобесия. Книга содержит яростные выпады, клеймящие определения (именно так трансформируется у Бруно мирный риторический прием «перечисления» — *enumeratio*), направленные против злобных и невежественных служителей и апологетов реакции.

«В нынешние времена, — пишет Бруно, — ...мы находимся на самом дне наук, породивших подонки мнений, грязные обычаи и действия». Он говорит об «отступниках, прославляющих ослов», о самих «ослах» — невежественных теологах и педантах-аристотеликах, «выносящих приговоры и мнения о том, чего они никогда не изучали и чего по сей день не понимают», об их идиотско-формалистических упражнениях в генеалогии, в расшифровке и толковании священного писания, их бесполезном «чириканье» и софизмах. «Никогда педантство, — заключает Бруно, — не представляло больше притязаний на управление миром, чем в наши времена». Бруно бичует все проявления «святой ослиности», все рецидивы средневековой идеологии. Размеренная речь философского рассуждения прерывается выпадом против князей и тиранов, которые «применяют тем больше стеснений и насилия, чем меньше имеют власти». Следует специально оговорить яростную филиппику Бруно против «вульгарной любви», содержащую порою отдельные тирады женоненавистнического характера. Это мы находим, например, в «рассуждении Ноланца», которое предваряет диалоги. Немецкий реакционный историк культуры Ольшки видит в ней «теорию, прославляющую аскетизм и осуждающую земную любовь». Ватиканская газета «Оссерваторе романо», прославлявшая в 1931 г. кардинала Беллярмина, составившего обвинительный акт инквизиции против Бруно, в 1950 г. перепечатала из журнала «Жизнь и мысль» статью «монсиньера» Франческо Ольджати, в которой говорилось, что Бруно не был предшественником современной научной мысли и что лагерь прогрессивной демократии не имеет достаточных оснований на то, чтобы чествовать Бруно. В

качестве «аргументов» Ольджати ссылался на «аристократизм» Бруно, на то, что Бруно посвящал свои труды королям и вельможам, и в особенности на его «женоненавистничество». Статья Ольджати была написана в форме «открытого письма», адресованного редактору итальянского коммунистического журнала «Ринашита», отметившего 350-летие со дня смерти Бруно. В своем ответе «Джордано Бруно и мы» Пальмиро Тольятти дал достойную отповедь новоявленному фальсификатору Бруно из лагеря клерикальной реакции, пытающемуся спекулировать на отдельных предрассудках великого мыслителя Возрождения. По поводу обвинений Бруно в «антифеминизме» Тольятти пишет в журнале «Ринашита» (№ 8–9, 1950):

«Прежде всего вы, монсиньор, поступаете несправедливо, когда слишком цепляетесь за те выражения в духе несколько вульгарного женоненавистничества, которые часто срываются с бурного пера Ноланца. Это настроение (мы не забываем о нем) свойственно тому роду литературы, который широко культивировался в течение веков прежде всего священниками и монахами.

Грозный доминиканец научился этим вещам именно в монастыре. Да и теперь, когда я вижу, с каким пониманием дела остановились Вы на самых скабрёзных проявлениях двусмысленности, я думаю, что нравы там до сих пор не изменились!.. Вы не должны выпускать из виду, кроме того, что цитируемая Вами тирада педанта Полииннио из диалога «О причине» имеет особое значение для философского доказательства, которое дается в этом месте. Перечитайте его еще раз, когда ум и чувства Ваши будут не так возбуждены, и поразмыслите над этим».

Только фальсификаторы могут сводить осуждение «вульгарной любви» в «Героическом энтузиазме» к аскетическому женоненавистничеству. Бруно возмущала не «земная любовь», а прежде всего упадок нравственности дворянско-аристократических кругов эпохи реакции, их распущенность, паразитический и аморальный образ жизни и вырастающая на этой почве модная галантно-эротическая поэзия, славословящая «вульгарные страсти», расслабляющие волю и разлагающие сознание человека. Бруно говорит об этом со всей прямоотой и резкостью тона скорее плебейскими, чем аскетическими. В поэме же присутствует многогранный образ любви, который включает в себя и чисто возрожденческое любование красотой тела.

Наряду с галантно-эротической поэзией он критикует и модный петраркизм XVI в. Этот последний, буквально наводнивший современную Бруно литературу десятками тысяч бессодержательных любовных сонетов, мадригалов, канцон и т. д., был подражательным и пустым, — «чисто бумажным явлением, так как чувства, породившие поэзию «нового сладостного стиля» и самого Петрарки, больше уже не управляли гражданской жизнью, как перестала управлять ею и буржуазия коммун, вновь загнанная в свои склады и мануфактуры, переживающие упадок. Политически господствовала аристократия, в большей своей части из *parvenus*, группировавшаяся при дворах синьоров и охраняемая отрядами наемных солдат. Эта аристократия породила культуру XVI в., но политически она была ограниченной и кончила под иностранным господством». В критике эротической поэзии и дворянского петраркизма Бруно не был одинок. Он смыкался в этом с поэзией Франческо Берини и его последователей, с так называемой «*proesia bernesca*», представлявшей народную струю в итальянской сатирической литературе XVI в. «Героический энтузиазм» содержит полемику не только с галантно-эротической поэзией и петраркизмом, но и с господствующими литературными теориями, оправдывающими эти течения. В первом диалоге Бруно говорит о педантах — фанатических приверженцев поэтики Аристотеля, которая в их истолковании канонизировала определенных поэтов и определенные жанры, культивировала принцип подражания и т. д. И в этой области педантизм стоял на страже старого, реакционного, препятствуя развитию новых форм и жанров, отвечавших потребностям и задачам борьбы за прогресс. Бруно боролся за свободу творчества, за глубокую, содержательную поэзию. В «Героическом энтузиазме» он реализует свои устремления, выступая как новатор.

Бруно дал замечательные образцы лирики, придав ей глубину и общественный пафос. Выступая против бессодержательной и вредной поэзии петраркистов, подчас задевая своим «бурным пером» и самого Петрарку, Бруно не совсем отказался от петраркизма. Свое произведение он посвящает английскому поэту-петраркисту Филиппу Сиднею. Поэта-петраркиста Луиджи Тансилло (1510–1568), своего соотечественника, Бруно сделал ведущим собеседником первых пяти диалогов «Героического энтузиазма» и включил несколько его сонетов в текст своего произведения. Нередки у Бруно и реминисценции и из самого Петрарки.

Однако все, что Бруно взял у петраркистов, подчинялось им новым общественным задачам и творчески преобразовывалось. Так, он метафорически использует популярную тему «петраркической» любви, являющейся одновременно источником глубокой радости и мучительных переживаний для того, чтобы дать наглядную картину страстного, беззаветного стремления «героического энтузиаста» к истине, его готовности выдержать во имя ее торжества любые мучения и испытания. Известный сонет Тансилло «Когда свободно крылья я расправил», обычный любовный сонет, изображающий апофеоз любви, включенный в поэтическую ткань «Героического энтузиазма», приобрел, как это было замечено еще Грамши, «новый и оригинальный вкус, заставляющий забыть его происхождение». Здесь он стал образным выражением свободного полета мысли «на крыльях ума и сознательной воли». Этот поэтический образ раскрывает замысел и пафос «Героического энтузиазма», и поэтому его можно встретить в целом ряде стихотворений Бруно, например, в девятнадцатом сонете, рисующим полет «вольного сокола», порвавшего путы.

Направленность своего сочинения Бруно сформулировал следующими словами: «В наше время благородные умы, вооруженные истиной и освещенные божественной мыслью, должны быть в высокой мере бдительны, чтобы взяться за оружие против темного невежества, поднимаясь на высокую скалу и возвышенную башню созерцания. Нужно принимать и всякие другие меры против низкого и пустого». Бруно не был в состоянии решить поставленные им проблемы морали в социальном плане. Он считал, что развитие и утверждение нового мировоззрения и борьба со старым зависят прежде всего от степени самосовершенствования приверженцев новых истин. «Если мы хотим преобразовать общество, мы должны сначала изменить себя самих», — писал он в воинствующем антиклерикальном памфлете «Изгнание торжествующего зверя». Однако это еще не достаточное основание для того, чтобы приписывать Бруно «аристократическое философское сознание» (Ольшки). «Высокая скала» и «возвышенная башня созерцания» у Бруно не являются проповедью изолированности немногих мудрецов или апологией бездействия. Бруно настойчиво подчеркивает прежде всего гносеологический смысл этого образного выражения. Здесь речь идет о противопоставлении высшей формы «созерцательного» знания низшей форме — «чувственному знанию», которое само по себе, как доказывал Бруно, не выводит за круг

«полуистин» и поэтому не вооружает на борьбу против «темного невежества». Правда, Бруно нередко противопоставляет философию «созерцания» предрассудкам и бескрылому, лишенному героизма «здравому смыслу» «толпы», «черни», но свою нравственную норму («героический энтузиазм») он не связывал ни с каким ограниченным социальным или культурным слоем, считая, напротив, что она должна стать всеобщей. На замечание собеседника, что «не все могут достигнуть того, чего могут достигнуть один-два человека», Тансилло отвечает: «Достаточно, чтобы стремились все, достаточно, чтобы всякий делал это в меру своих возможностей, потому что героический дух довольствуется скорее достойным падением или честной неудачей в том высоком предприятии, в котором выражается его благородство, чем успехом и совершенством в делах менее благородных и низких... Нет сомнения, что лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф». Бруно прославлял энтузиазм, источником которого является жажда научного познания мира; религиозным фанатикам, «лишенным собственного духа и познания», он противопоставлял «героических энтузиастов», в которых видно «превосходство собственной человечности» и которые действуют «как главные мастера и деятели». Бруно обладал безграничной верой в науку и был выразителем той жажды знания, которая характеризует эпоху Возрождения. Он писал в «Героическом энтузиазме»: «Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на познанной истине, но всегда будет идти вперед и дальше, к непознанной истине».

«Героический энтузиазм» — это прежде всего философско-поэтическая исповедь борца эпохи Возрождения. Клерикальной реакции, которая еще в 1603 г. внесла все сочинения Бруно в «список запрещенных книг», всегда были страшны не только передовые философские и естественно-научные теории Бруно, но и самый пафос его сочинений, та страстность, с которой Бруно прославлял торжество научной мысли над католицизмом и схоластикой.

Но именно эта страстность помогла Бруно сделать такой большой вклад в дело прогресса.

«Главное, как мне кажется, состоит в том, — писал П. Тольятти в упомянутой статье, — что в один из критических моментов развития мысли и сознания людей, когда ради продвижения вперед было необходимо любой ценой вступить на новую дорогу, навсегда разбить цепи авторитета, освободиться от путаницы предвзятых мнений,

утвердить мысль о необходимости и возможности того, что человеческий разум одними своими усилиями способен познать действительность, понять и упорядочить ее, Джордано Бруно, при всей неопределенности и трудности его философского развития, явился, может быть, тем, кто в свое время внес в это дело наибольший вклад, и не только тем, что он думал, но и как думал, страстностью, которая толкала его мысль, самопожертвованием, которым завершилась его жизнь и которое наложило на его мысль неизгладимую печать вечности...»

3. Егерман.



Рассуждение Ноланца
о
Героическом
Энтузиазме,
НАПИСАННОЕ
для
ВЫСОКОЗНАМЕНИТОГО
Синвора
ФИЛИППА
СИДНЕЯ



Великодушный Кавалер

Рассуждение Ноанца о героическом энтузиазме



Поистине, только низкий, грубый и грязный ум может постоянно занимать себя и направлять свою любознательную мысль вокруг да около красоты женского тела. Боже милостивый! Могут ли глаза, наделенные чистым чувством, видеть что-либо более презренное и недостойное, чем погруженный в раздумья, угнетенный, мучимый, опечаленный, меланхолический человек, готовый стать то холодным, то горячим, то лихорадящим, то трепещущим, то бледным, то красным, то со смущенным лицом, то с решительными жестами, — человек, который тратит лучшее время и самые изысканные плоды своей жизни, очищая эликсир мозга, лишь на то, чтобы обдумывать, описывать и запечатлевать в публикуемых произведениях те непрерывные муки, те тяжкие страдания, те раз-мышления, те томительные мысли и горчайшие усилия, которые отдаются в тиранию недостойному, глупому, безумному и гадкому свинству?

Какая, — говорю я, — трагикомедия, какое действие, более достойное сострадания и смеха, может быть показано нам на этом театре мира, на этой сцене нашего сознания, чем те многочисленные, названные выше глубокомысленные, созерцательные, постоянные, крепкие и стойкие любители, возделыватели, обожатели и рабы дела, не стоящего веры, не обладающего никакой устойчивостью, не требующего никакого таланта, не имеющего никакой ценности, не заслуживающего никакой признательности и благодарности, — дела, в котором не больше чувства, ума и добра, чем в статуе или в образе, написанном на стене, — дела, где больше высокомерия, наглости, бесстыдства, надменности, ярости, презрения, фальши, похоти, жадности, неблагодарности и прочих пагубных преступлений, чем в состоянии чаша Пандора излить ядов и средств смерти,

применительно к тому слишком длинному списку приемов, какой оказался в мозгу такого уроды.

Вон они, лежащие строчками на бумаге, отпечатанные в книгах, выставленные перед глазами и звучащие в ушах, — весь этот треск, гул и шум заглавий, девизов, изречений, писем, сонетов, эпиграмм, книг, болтливых описаний, чрезмерных потуг, затраченных жизней, — с воплями, доходящими до звезд, — с жалобами, вызывающими гул в пещерах ада, — со страданиями, изумляющими души живущих, со вздохами, изнуряющими и вызывающими жалость богов, — и все это ради тех глаз, тех щек, той груди, той белизны кожи, того румянца щек, того язычка, тех зубов, тех губ, тех волос, того платья, той накидки, тех перчаток, тех башмачков, тех туфель, той скромности, той улыбочки, того негодованьица, того осиротевшего окошка, того закатившегося солнышка, того дверного молотка, того отвращения, той грязи, той гробницы, того нужника, той падали, той лихорадки, того крайнего позора и той ошибки природы, которые поверхностно, туманно, в бреду, во сне мы, как Цирцеи, воспеваем, служа продолжению рода, и которые нас обманывают, принимая облик красоты.

А ведь красота в одно и то же время приходит и уходит, рождается и умирает, цветет и гниет; и она в той же мере мало привлекательна снаружи, в какой действительно и постоянно внутри судна, лавки, таможни, рынка имеется свинств, отрав и ядов, какие в состоянии произвести наша мачеха природа. Заполучив семя, используемое ею, она часто заставляет оплачивать его грязью, раскаянием, грустью, слабостью, головной болью, угнетенностью и прочими, известными всем бедствиями, и в итоге горько мучит нас тем, чем мы сладко наслаждались.

Однако что я> делаю? О чем думаю? Может быть, я — враг продолжения рода человеческого? Может быть, я ненавижу солнце? Может быть, сожалею о появлении на свет себя и других? Может быть, я хочу уменьшить число людей, собирающих самые сладкие яблоки, какие могут произрастать в саду нашего земного рая? Может быть, я стою за запрещение священного установления природы? Не собираюсь ли я попытаться избавить себя или других от сладкого и любимого ига, возложенного нам на шею божественным провидением? Может быть, я хочу убедить себя и других, что наши предшественники были рождены ради нас, но сами мы не рождены для наших потомков?

Нет, нет, не допустил господь, чтоб нечто подобное могло запасть мне в голову.

Добавлю еще, что какие бы царства и блаженства ни были дарованы мне, я никогда не сделался бы до такой степени мудрым или благим, чтобы у меня появилось желание кастрировать себя или стать евнухом. Я даже стыдился бы, если, будучи таким, каков я на вид, захотел бы уступить хоть на волос любому, кто достойно ест хлеб, во служение природе и господу богу. А если доброй к тому воле могут помочь или в самом деле помогают всякие средства и старанья, то об этом иметь суждение я предоставляю лишь тому, кто имеет право выносить приговор и высказывать мнение. Я же не считаю, что меня что-либо может связать, так как убежден, что не хватило бы никаких веревок и сетей, которые смогли бы меня опутать какими бы то ни было узами, даже если бы с ними, так сказать, пришла сама смерть. Равно не считаю я себя и холодным, так как для охлаждения моего жара, думается, не хватило бы снегов Кавказских или Рифейских гор. Вы видите, таким образом, есть ли у меня основание или какой-либо дефект, который побуждал бы меня так говорить.

Что же в таком случае я хочу сказать? что утверждать? какой вывод сделать? Мой вывод, о Знаменитый Рыцарь, таков: цезарево должно быть отдано цезарю, а божье — богу.

Я хочу сказать, что если порой женщинам не воздают божественных почестей и уважения, то причина этого не в том, заслуживают они или не заслуживают божественных почестей и уважения. Я хочу, чтобы женщин так почитали и любили, как должны быть почитаемы и любимы женщины, то есть — постольку, поскольку следует им то немного, в такую-то пору и по такому-то случаю, если у них нет другой добродетели, кроме природной красоты, то есть той красоты, того блеска, тех заслуг, без которых надо было бы признать, что они родились на свет, имея на то меньше оснований, чем ядовитый гриб, занимающий место на земле в ущерб лучшим растениям, и существование их приносит больше вреда, чем волчий корень или змея, скрывающая рядом голову.

Я хочу сказать, что все вещи на свете для прочности и устойчивости наделены своим весом, своим числом, своим строением и мерой, чтобы их можно было использовать и ими управлять по всей справедливости и разумности. Подобно тому как Силен, Вакх, Помона,

Вертумн, бог Ламп-сака и другие подобные им божества харчевень, крепкого пива и кислого вина не сидят в небесах, дабы пить там нектар и вкушать амброзию за столом Юпитера, Сатурна, Паллады, Феба и им подобных, — так и святилища, храмы, жертвы и культы у этих божеств должны быть иными, чем у названных небожителей.

Я хочу, наконец, сказать, что и данное мое сочинение «Героический Энтузиазм» имеет своим сюжетом и объектом «героическое», и поэтому для меня так же невозможно опуститься до уважения к любви вульгарной и физической, как невозможно видеть в лесу на деревьях дельфинов, а под морскими скалами — кабанов. Вот почему, чтобы избавить кого бы то ни было от такого подозрения, я первоначально думал было дать этой книге заглавие, подобное книге Соломона, которая под видом любви и обыкновенных страстей говорит подобным же образом о божественном и героическом энтузиазме, как свидетельствует толкование мистиков и ученых кабаллистов; я хотел в соответствии с этим назвать свою книгу «Песнью Песней».

Но в конце концов я отказался от этого по многим причинам, из которых назову только две. Одна из них — возникший во мне страх перед строгостью и надменностью кой-каких фарисеев, которые могли бы в этом случае счесть меня нечестивцем за присвоение моему естественному и физическому сочинению священного и сверхъестественного заглавия, наподобие того как сами они, эти сверхзлодеи и служители всякого мошенничества, присваивают себе более высокие, чем допустимо, титулы священных, святых, божественных посланников, сынов божьих, жрецов, королей, мы же между тем пребываем в ожидании божественного приговора, который обнаружит злобное невежество их самих и других таких же доктрин и сделает явным скромность нашей свободы, равно как хитрость их правил, запретов и установлений.

Другая причина — в том большом и явном несходстве, какое есть между этим моим произведением и названным выше, хотя под покровом обоих заключена одна и та же тайна и существо души. Ведь нет никакого сомнения в том, что в той книге целью Мудреца было скорее образно воплотить божественные вещи, нежели представить что-либо иное, поскольку образы в той книге — открытые и явные, а переносный смысл их познается так, что не может быть отрицаемо их метафорическое значение; мы там читаем о глазах голубицы, о шее,

подобной башне, о языке, подобном молоку, о благоуханномі фимиаме, о зубах, похожих на стадо овец, выходящих из купели, о волосах, кажущихся козами, спускающимися с горы Галаадской; между тем в нашей поэме не видно такого лика, который столь естественно толкал бы читателя на поиски скрытого и тайного смысла, потому что обычный способ выражений и уподоблений более приспособлен к обычным чувствам, чем тот, который применяют искусные влюбленные и привычно перелагают в стихи и рифмы опытные поэты и который отвечает чувствам людей, обращающихся к Цитереи-де, Ликориде, Дориде, Цинтии, Лесбии, Коринне, Лауре и им подобным.

Отсюда каждый легко мог бы убедиться, что моим основным и первоначальным намерением было взять исходной точкой обычную любовь, которая» и диктовала мне подобные замыслы, чтобы затем силою отталкивания она вычеканила себе крылья и сделалась героической; ведь мы можем изменить всякую басню, роман, сновидение и пророческую загадку и, при помощи метафоры или под видом аллегории, приспособить их для обозначения всего, что угодно любому, кто только способен притянуть за волосы чувства и таким образом делать все из всего, поскольку все заключается во всем, как говорит глубокомысленный Анаксагор. Впрочем, пусть всякий желающий думает так, как ему заблагорассудится, ибо в конце концов, вольно или невольно, но по справедливости, поэму мою всякий должен будет понимать и определять так, как ее понимаю и определяю я, а не наоборот: не я должен понимать и определять ее, как это делает он; и подобно тому как энтузиазм того мудрого Еврея обладает свойственным ему одному модусом, распорядком и наименованием, которые никто не мог бы лучше растолковать и изъяснить, чем он сам, если бы он еще жил, — так и эти песни имеют свое наименование, свой порядок и модус, которые никто не может лучше изъяснить и растолковать, чем я сам, если только я не отсутствую.

Я хочу лишь, чтобы все были уверены в одном. То, что волнует меня, как в этом вступительном рассуждении, которое обращено именно к Вам, Превосходный Синьор, так и в диалогах, ведущихся на темы последующих статей, сонетов и стансов, — заключается к сведению всех вот в чем: я счел бы себя опозоренным и грубияном, если бы употребил столько размышлений, прилежания и труда ради забавы или развлечения, подражая, как говорится, Орфею в культе

женщины, пока она жива, а после смерти, будь это возможно, извлекая ее из ада, как только решил бы, не краснея, что она природно достойна моей любви, в расцвете своей красоты и способности рожать детей природе и богу.

Тем меньше хотел бы я быть похожим на некоторых поэтов и стихотворцев, занятых созданием триумфа вечной приверженности к такой любви, ибо подобное упорное безумие может несомненно соперничать со всеми другими видами безумств, какие только гнездятся в человеческом мозгу. Я настолько далек от потребности в подобной самой суетной, самой низкой и самой позорной славе, что не могу поверить, чтобы человек, у которого есть хотя бы зерно мысли и духа, мог отдать больше любви на подобное дело, чем сам я издержал в прошлом и могу издержать еще. И, поверьте мне, если я даже готов защищать благородство ума того тосканского поэта, который показал себя столь страдающим на берегах Сорги по одной женщине из Воклюза, если нет у меня намерения утверждать, что он безумец, которого надо держать в цепях, то пусть позволят мне считать самому и убеждать других в том, что означенный поэт, не имея дарования, способного на нечто лучшее, стал трудолюбиво питать свою меланхолию, чтобы, вопреки всему, в этой неразберихе все же прославить свое дарование, изыскав страсти упрямой, вульгарной, животной, грубей любви не хуже, чем это удалось сделать другим поэтам, сочинявшим похвальные слова мухе, жуку, ослу, Силену, Приапу, обезьянкам; таковы же и те, кто в наши времена слагал стихи в похвалу ночному горшку, вольтке, бобу, постели, лжи, бесчестью, печке, молотку, голоду, чуме; — эти поэты тоже, может быть, имеют основание ходить не м «енее величаво и надменно благодаря знаменитым) устам своих песенников, нежели на то имеют право вышеназванные и прочие дамы благодаря своим устам.

Однако, во избежание недоразумения, я не хочу здесь оценивать достоинств ни тех дам, которые были заслуженно хвалимы прежде и хвалимы сейчас, ни в особенности тех, кому могут быть возданы хвалы в британской стране, которой мы обязаны верностью и любовью за гостеприимство. Ведь там, где порицают весь земной шар, все же не порицают ее, ибо она не есть ни шар земной, ни частица его и отличается от него, как вам известно, во всех отношениях. Даже если бы здесь велось рассуждение обо всем женском роде, то и тогда не

могли и не должны были бы подразумевать некоторых Ваших дам, которых не следует считать частью этого пола, потому что они — ни женщины, ни дамы, но, так сказать, нимфы, богини из небесной субстанции, причем среди них позволено нам созерцать ту единственную Диану, которую в данный момент и при данных обстоятельствах я не хочу называть по имени. Таким образом, здесь имеются» в виду женщины обычного рода. Однако и среди них я не хотел бы наносить обид отдельным личностям, потому что никому, в частности, не могут быть поставлены в вину глупость и условия пола, как нельзя ставить в вину телесные недостатки и уродства; ибо если при таких условиях и имеются недостатки и ошибки, то приписать это должно природе, а не отдельному лицу. Но что бесспорно ненавистно мне в данном отношении, так это усердная и беспорядочная половая любовь, которую привыкли здесь некоторые расточать до такой степени, что они обращают себя в рабов с умом и этим отдают в неволю самые благородные силы и действия мыслящей души.

Если принять во внимание эту точку зрения, то не найдется ни одной целомудренной и честной женщины, которая опечалилась бы и рассердилась бы на мои естественные и искренние слова: она скорее согласилась бы любить меня, порицая ту любовь женщин к мужчинам, которую я решительно осуждаю у мужчин к женщинам. Таков мой дух, разум, мнение и выводы, и я заявляю, что мое первое и основное, главное и дополнительное, последнее и окончательное намерение заключалось и заключается в том», чтобы показать в этом сочинении божественное созерцание и представить слуху и взору других людей не вульгарные страсти, но героическую любовь...

Вот каковы речи, которые, кажется, никому не должны быть посвящены и представлены прежде, нежели Вам, Превосходный Синьор, дабы мне не пришлось делать то, что, думается, иногда я делал по недостаточной внимательности, а многие другие делают почти по обыкновению, преподнося лиру глухому, а зеркало слепому.

Следовательно, они преподносятся Вам, потому что итальянец здесь рассуждает с тем, кто его понимает; стихи эти отдаются во власть Вашей критики и под покровительство такого поэта, как Вы; философия предстает обнаженной перед столь ясным разумением, какое имеется у Вас, героические дела направляются героической и широкой душе, какою одарены Вы; вежливость выражается лицу столь

благодарному, а почтение высказывается синьору столь достойному, каким всегда проявляли себя Вы.

И, в частности, я направляю Вам то, в чем Вы меня опережали с большим, великодушием и любезностью, нежели некоторые другие с признательностью отвечали мне.



Часть первая

ИЗВИНЕНИЯ НОАНЦА ПЕРЕД ДОБРОДЕТЕЛЬНОЙШИМИ И ИЗЯЩНЕЙШИМИ ДАМАМИ



Извинения Ноанца перед добродетельнейшими и изящнейшими дамами

О,

О нимфы Англии, прелестные созданья,—

Хулить иль презирать мой ум не смеет вас,
Равно запрещен мне стиль выпранных прикрас,
А звать вас женщинами — есть ли основанья?
Оспаривать, твердить — напрасные старанья!
Что вы божественны, я познавал не раз:
В вас пошлости земной не примечает глаз,
И на земле вы — то, что в небе — звезд сиянью.

У вашей красоты, о Дамы, нет изъяна,
Не сыщется для хулы в ней поводов зоилов,—
Ее сверхъестеству дивимся неустанно.
Яд злобной клеветы лишается всех сил,
Когда мы видим) лик единственной Дианы,
Что блещет среди вас, как солнце меж светил.
Пусть моего ума, речей, чернил Усилия (хоть в них немало скуки)
Ведут на службу вам искусства и науки.



Диалог первый

Собеседники:

Тансилло

и

Чикада

Тансилло. Итак, энтузиазм, который надлежит здесь впервые обрисовать и обсудить, таков: изложу это перед тобой в последовательности, которая, мне кажется, наиболее подходящей.

Чикада. Начните же читать об этом!

Тансилло.

[1]

Как часто, Музы, был я к вам суров!
И все ж упрямо на мои стенанья
Спешите вы, чтоб облегчить страданья
Мне изобильем. мыслей, рифм, стихов.
С тщеславцами ваш навык не таков, —
Не знают мирт и лавров их созданья;
Так будьте ж впрямь мне якорь и причал,
Раз прежний путь стопам запрещен стал!
О девы вещие, Парнас, ключи,
Близ вас живу, учусь и размышляю,
Вершу свой труд и мирно расцветаю;
Здесь дух парит, здесь чувства горячи:
О кипарисы, мертвецы, могилы,
Преобразитесь в лавры, в жизнь, светила!

Надо полагать, что Энтузиаст отвергал муз много раз и по многим причинам, среди которых могли быть следующие: во-первых, потому что, как и должен был поступать жрец муз, он не мог пребывать в бездействии, ибо праздность не может иметь места там, где идет борьба против слуг и рабов зависти, невежества и злобы; во-вторых,

потому что у него не было достойных покровителей и защитников, которые приходили бы к нему на помощь соответственно стихам:

Не будут, о Гораций, отсутствовать Вергилии
В местах, где недостатка не будет в Меценатах.

Следующей причиной было то, что он обязан был отдаваться умозрению и изучению философии, которые, хотя и не более зрелы, все же должны в качестве родителей муз быть их предшественниками. Кроме того, его влекла, с одной стороны, трагическая Мельпомена, у которой преобладает материя [сюжет] над внутренним чувством, с другой стороны, комическая Талия, у которой преобладает внутреннее чувство над материей [сюжетом], в итоге было то, что, поскольку одна боролась с другой, он вынужден был оставаться посередине скорее нейтральным и бездействующим, чем занятым ими обеими. Наконец — власть цензоров, удерживая его от более достойных и возвышенных дел, к которым у него была природная склонность и которая так полонила его ум, что из свободного человека, руководимого добродетелью, превратила его в пленника, ведомого подлейшим и глупым ханжеством. В конце концов от одержимости большой тоской, в которую он впал, и не имея других утешений, он принял приглашение вышеупомянутых муз, которые твердили, что опьянят его такими восторгами, стихами и рифмами, каких они не давали другим; вот отчего в этом произведении больше отсвечивает творчество, чем подражание.

Чикада. Скажите, кого вы подразумеваете под людьми, которые похваляются миртами и лаврами?

Тансилло. Похваляются и могут похваляться миртами те, которые поют о любви. Им, если они ведут себя благородно, достается венок из растения, посвященного Венере, которая, по их утверждению, дает им вдохновенье. Лаврами же могут похваляться те, кто достойно воспекает героические дела, побуждая героические души к умозрительной и нравственной философии или же, прославляя и побуждая их, действуя образными примерами, к политическим и гражданским деяниям.

Чикада. Значит, есть много видов поэтов и венков?

Тансилло. Да. Они не только соответствуют числу муз, — их значительно больше, потому что хотя существуют несомненные

таланты, все же некоторые виды и модусы человеческого творчества не могут быть точно установлены.

Чикада. Существуют некоторые сторонники правил поэзии, которые с большим трудом признают поэтом Гомера, а Вергилия, Овидия, Марциала, Гесиода, Лукреция и многих других относят всего только к числу стихотворцев, применяя к их изучению правила «Поэтики» Аристотеля.

Тансилло. Знай же, братец, что это сущие животные, ведь они рассматривают те правила не как то, что главным образом обслуживает образность гомеровской поэзии или иной подобной, а обычно применяют эти правила для того, чтобы обрисовать героического поэта таким, каким был Гомер, а не для того, чтобы поучать других поэтов, какими бы они ни были, с иной фантазией, мастерством и вдохновением с равным, схожим или с большим, то есть поэтов различных родов.

Чикада. Ведь и Гомер, в его собственном роде, не был поэтом, зависевшим от правил, но сам был причиной правил, которыми пользуются лица, способные скорее подражать, чем творить; и они заимствуют эти правила у того, кто вовсе не был поэтом, а умел лишь выбирать правила одного рода, а именно — гомеровской поэзии, чтобы обслужить того, кто желал бы стать не каким-либо иным поэтом, а только Гомером, и не с собственной музой, но с обезьяной чужой музы.

Тансилло. Ты сделал хорошее умозаключение, а именно то, что поэзия меньше всего рождается из правил, но, наоборот, правила происходят из поэзии; поэтому существует столько родов и видов истинных правил, сколько имеется родов и видов настоящих поэтов.

Чикада. А как можно узнать настоящего поэта?

Тансилло. Распевая стихи, — потому что когда их распевают, то либо развлекаются, либо извлекают пользу, либо же одновременно и получают пользу и развлекаются.

Чикада. В таком случае кому же нужны правила Аристотеля?

Тансилло. Тем, кто не умеет, как это умели Гомер, Гесиод, Орфей и другие, сочинять стихи без правил Аристотеля и кто, не имея своей музы, хотел бы иметь любовные дела с музой Гомера.

Чикада. Значит, неправы кое-какие педанты нашего времени, исключаящие из числа поэтов тех, которые не употребляют общепринятых фабул и метафор, или не применяют в книгах и в

песнях правил, соответствующих гомеровским или виргилиевским, или не соблюдают обычая делать призыв к музам, или связывают одну историю либо басню с другой, или кончают песни эпилогом, подытоживающим уже сказанное, и начинают введением), говорящим о том, что будет сказано далее; всех таких они исключают из числа поэтов, применяя еще тысячи иных способов исследования, порицания и правила, основанные на таком-то тексте.

Оттого педанты эти как бы навязывают заключение, что сами они могли бы (если бы им пришла фантазия) стать истинными поэтами и достичь таких успехов, каких другие только силятся достичь; однако в действительности они — всего лишь черви, не пригодные ни для чего хорошего и рожденные только для того, чтобы грызть, пачкать и загаживать труды и усилия других; они не в силах стать знаменитыми благодаря своим собственным заслугам и уму, и поэтому всеми правдами и неправдами они пытаются выдвинуться вперед на чужих ошибках и пороках.

Тансилло. Чтобы больше не возвращаться к тому, от чего мы, увлекшись, отступили довольно далеко, скажу, что существует и может существовать столько родов поэтов, сколько может быть и сколько имеется способов человеческого чувствования и изобретательности, которые могут быть украшаемы гирляндами не только из всевозможных родов и видов растений, но также и из других родов и видов материи. Поэтому венки для поэтов делаются не только из миртов и лавров, но также из виноградных листьев за стихи для празднеств, из плюща — за стихи для вакханалий, из масличных листьев — за стихи для жертвоприношений и законов, из тополя, вяза и лаванды — за стихи на возделывание земли, из кипариса — за стихи погребальные и еще из несчетного множества иных материалов по многим другим обстоятельствам; а также, с вашего позволения, и из той материи, о которой сказал некий галантный поэт:

О братец Порро, делатель стишков,
Которого Милан венчал короной
Из кожуры колбас и потрохов...

Чикада. Но, таким образом, благодаря разным вдохновениям, которые героический поэт показал в разных изъяснениях и чувствах, он безусловно может быть украшен ветвями различных растений и

может достойно разговаривать с музами; и поэтому пусть они будут для него вдохновением, которым он утешается, якорем, на котором держится, и причалом, в котором укрывается во время усталости, треволнений и бурь. Оттого он и говорит: О гора Парнас, где я живу, — о музы, с которыми беседую, — о геликонский или какой-либо иной ключ, из которого пью, — гора, дающая мне мирный приют, — музы, которые внушают мне глубокое учение, — источник, который дает мне завершенность и чистоту, — гора, куда, восходя, я возвышаю сердце, — музы, чья беседа оживляет дух мой, — источник, под чьими деревьями отдыхая, я украшаю чело свое, — преобразите смерть мою в жизнь, кипарисы мои в лавры и ад мой в небеса, — иными словами, предназначьте меня бессмертию, сделайте меня поэтом, дайте мне славу, пока я пою о смерти, кипарисах и аде.

Тансилло. Это хорошо, ибо у тех, кто является любимцем небес, самые большие горести превращаются в столь же великие блага; потому что нужда порождает утомления и усилия, а это чаще всего приводит к славе бессмертного сияния.

Чикада. И смерть в одном» веке дает им жизнь во всех последующих веках.

Тансилло. Далее он говорит:

[2]

В строенье плоти сердце — мой Парнас,
Куда всхожу искать отдохновенья;
А мысли — музы, мне они подчас
Приносят в дар прекрасные виденья.
Пусть щедро слезы падают из глаз,—
Восполнит Геликон иссякновенье;
Недаром здесь, средь гор и нимф, поэт
Велением небес увидел свет.
Ни императора щедроты,
Ни милость королевского ларца,
Ни ласковость святейшего отца
Не принесут так много мне почета,
Как эти лавры, что дает
Мне сердце, мысль и говор вещих вод.

Здесь он, во-первых, заявляет, что его гора, это — высокое вдохновенье его сердца; во-вторых, что его музы, — это красоты и превосходства его объекта; в-третьих, что его источники — это слезы. На этой горе вспыхивает страсть, от этих красот зарождается энтузиазм, и из этих слез выявляется неистовая страсть.

Таким образом, он считает, что он увенчан своим сердцем, мыслями и слезами не менее блестяще, чем иные щедротами королей, императоров и пап.

Чекада. Скажи мне, что разумеется под словами: сердце, имеющее вид Парнаса?

Тансилло. Ведь сердце человеческое также имеет две вершины, которые вырастают из единого корня; равно и в духовном» смысле из одной страсти сердца проистекают две противоположности, ненависть и любовь, подобно тому, как гора Парнас под двумя вершинами имеет единое основание.

Чикада. Дальше.

Тансилло.

[3]

Призыв трубы под знамя капитана
Порой тревожно воинов зовет,
Но кое-кто спешит не слишком рьяно
Занять места, кто вовсе слух запрет;
Кого убьют; кого не пустит рана,—
Так многих в строй отряд не соберет.
Так и душа свести в ряды не может
Стремления — их смерть и время гложет.
И все ж, влеком одной мечтой,
Я лишь одной пленяюсь красотой,
Лишь пред одним челом главу склоняю.
Одна стрела пронзает сердце мне,
В одном пылаю я огне.
И лишь в одном раю я быть желаю.

Капитан этот есть человеческая воля, которая находится в недрах души, управляя при помощи маленького руля разума страстями некоторых внутренних сил, против волн природных порывов буйства.

Звуком трубы, то есть по определенному выбору, он созывает всех воинов, вызывает все силы (которые называются воинами, поскольку находятся в непрерывной борьбе и противоречии) или проявления этих сил, противоположные мысли, из коих одни склоняются в ту, другие в иную сторону; а он старается организовать их под одним единым знаменем определенной цели. Между тем бывает, что к некоторым из них тщетно обращен призыв показать послушание ему (больше всего таковы те, которые проистекают от природных возможностей, и либо мало, либо вовсе не подчиняются разуму), — или по крайней мере удержать свои действия и хотя бы осудить те из них, которые нельзя устранить, он показывает, как умертвил бы одних и изгнал бы других, действуя против этих шпагою гнева, а против тех бичом презрения.

Он влеком объектом, к которому обратился намеренно, — единственным лицом, которое его удовлетворяет и заполняет его мысль; лишь единственной красотой любитесь он, наслаждается и обещает остаться привязанным к ней, ибо дело ума есть не дело движения, но покоя. И лишь в этом усматривает луч солнца, который его убивает, то есть составляет последнюю цель его совершенствования, он пылает единственным огнем, то есть сладостно тает в единой любви.

Чикада. Почему любовь названа огнем?

Тансилло. Оставляя в стороне прочие соображения, пока ограничусь следующим: любимое превращается любовью в любящего так же, как огонь, наиболее действенный из всех элементов, способен превратить все остальные простые и составные элементы в себя самого.

Чикада. Продолжай.

Тансилло. Он знает лишь один рай, то есть главную цель, потому что рай обычно означает цель, в которой то, что абсолютно в истине и существе различается от того, что есть подобие, тень и соучастие. Первый модус не может быть более, чем одним, как не может быть больше, чем одним, последнее и первое благо; вторых же модусов бесконечное число.

Любовь, судьба и цель моих забот
 Гнетет и манит, мучит и ласкает;
 Амур безумный к красоте влечет,
 А ревность — та на гибель обрекает.
 Любовь то явит рай, то оттолкнет,
 То жалует блага, то отнимает;
 Душа и сердце, дух и разум мой
 Так погружаются то в лед, то в зной.
 Настанет ли конец войне?
 Кто — тот, в чьей власти скорбь сменить на радость?
 Кто мирного труда пошлет мне сладость?
 (Кто в небеса откроет двери мне?)
 Кто прекратит мои мученья,
 Кто напоит мой жар и утолит влеченья?

Здесь показываются причина и происхождение, которые зачинают страсть и порождают энтузиазм, чтобы вспахать поле для муз, рассыпая семя своих мыслей, томясь жаждой любовного служения, раздувая в себе жар страстей вместо солнца и влагу очей вместо дождей.

Поэт выдвигает четыре вещи: любовь, судьбу, объект, ревность. Тут любовь не является низостью, неблагородным и недостойным двигателем, но героическим властителем и своим собственным вождем. Судьба есть не что иное, как фатальное расположение и порядок событий, коим) любовь подчинена в своей участи. Объект есть предмет любви и коррелятив любящего. Ревность несомненно есть стремление любящего к любимому, и это нет нужды объяснять тому, кто вкусил любовь, о которой напрасно пытаться говорить всем прочим. Любовь вознаграждает, потому что любящему нравится любить: тому, кто истинно любит, не хотелось бы не любить. Поэтому и я не хочу упустить случая сообщить то, что показано в следующем моем сонете.

Почетная и сладостная рана —
 Стрелы Амура избраннейший дар.
 Высокий, смелый, драгоценный жар,
 Что душу мчит на крыльях урагана, —
 Нет снадобий на свете, нет дурмана,
 Чтоб сердце оторвать от этих чар:
 Чем яростнее жжет меня пожар,
 Тем казнь свою люблю все боле рьяно.
 О новый, редкий, сладостный недуг!
 Смогу ль, скажи, ярем низвергнуть твой,
 Когда гоню врача, а боль лелею?
 Взор — госпожи моей стрела и лук —
 Рази быстрее, ранения удвой,
 Раз так прельщен я пыткой моею!

Судьба мучает несчастными и неожиданными успехами, потому ли, что заставляет субъекта уважать менее достойный для использования объект и менее соответствующий достоинству, или оттого, что не вызывает взаимного ответа, либо же по каким-нибудь иным причинам и встречным препятствиям. Объект удовлетворяет субъекта, который не питается ничем другим^ не ищет ничего другого, не занимается чем-либо иным и тем самым изгоняет всякую другую мысль. Ревность разочаровывает, хотя она — дочь любви, от которой происходит, и спутник той, с которой всегда идет вместе, равно как признак ее самой, потому что ревность считается необходимым) следствием того, в чем она проявляется (как это может быть показано в опыте ряда последовательных поколений, когда по безразличию к местонахождению и по тяжеловесности ума меньше проявляют понимания, мало любви и вовсе не ревнуют); однако своим родством, дружбой и значением ревность потрясает и отравляет все то, что есть красивого и хорошего в любви. Это именно я и сказал в другом моем сонете:

Любви и зависти неистовая дочь,
 Меняющая отчью радость в стоны,
 Стоглазый Аргус зла, незрячий крот закона, —
 О Ревность, злой тиран, чью плеть терпеть невмочь,
 Ниспровергающий людское счастье в ночь,
 С зловоньем Гарпии, с злорадством Тизифона;
 Жестокий суховей, что косит без препоны
 Цветы моих надежд и их уносит прочь;
 Зверь, ненавидящий и самого себя;
 Вещунья горестей, не знающих исхода;
 Боль, наводняющая сердце, все губя;
 О, если б у тебя отнять ключи от входа!
 Как было бы светло нам в царствии любви,
 Когда б не погрязал мир в злобе и в крови!

Добавь к сказанному, что Ревность иной раз есть не только смерть и разрушение любящего, но часто убивает самую любовь, — в особенности когда порождает негодование: ведь Ревность настолько раздувается этим своим детищем, что отталкивает любовь, и начинает пренебрегать объектом, и даже вовсе перестает считать ее своим объектом.

Чикада. Разъясни теперь другие вытекающие подробности, то есть почему Амур именуется неразумным отроком?

Тансилло. Все скажу. Безумным отроком называется Амур не потому, что он таков сам по себе, но оттого, что он больше всего дает такие советы и сам находится под влиянием таких внушений. Ведь часто он умственно и умозрительно более одарен, выше поднимает творческие способности и более очищает ум, делая его более развитым, усердным и проницательным, двигая его к героическому воодушевлению, подъему сил и величия, используя желание нравиться и превратить себя в достойного любимой. Зато в других случаях (а это бывает чаще всего) он — глупец и безумец, так как эти состояния он выводит из собственных чувств и гонит их к крайностям, приводит ум, душу и тело к невязке и к неспособности соображать и различать то, что им подобает, и делает их более гадкими, презираемыми, осмеиваемыми и порицаемыми.

Чикада. Простой народ и пословица говорят, что любовь делает стариков безумными, а молодых мудрыми.

Тансилло, Эти неудобства случаются не со всеми стариками и не со всеми молодыми, но верно в отношении одних — хорошо уравновешенных, и других — плохо уравновешенных. И при этом верно, что тот, кто может любить осматрительно в юности, тот будет любить без заблуждений и в старости. Однако даром тратят время и вызывают смех те, которым в зрелые годы Амур вкладывает в руку азбуку.

Чикада. Скажите же теперь, почему судьба, или доля, названа незрячей и злой?

Тансилло. Судьба называется также незрячей и злой не сама по себе, поскольку она есть порядок чисел и мер вселенной, — но ее именуют слепой те, кто находится под влиянием своих внушений, ибо она представляется слепой на взгляд, поскольку она непостоянна. Подобным) образом она названа злобною, потому что нет ни одного смертного, кто каким-либо образом, жалуясь и споря с нею, не обвинял бы ее. Оттого-то и говорит поэт из Апулии:

Скажу тебе, Меценат, что нет человека,
Который был бы своею доволен судьбою,
Данной ему или разумом, иль небесами.

Точно так же объект назван возвышенной красотой, потому что только ей свойственно, и достойно ее, и по силам ей поднять субъект до себя; и поэтому субъект уважает его (объект) более достойно, более благородно; поэтому и красота чувствует себя господствующей над субъектом и более высокой, чем он, а субъект по отношению к ней считается подчиненным и в плену у нее; обрекает меня на гибель, — говорится о ревности, ибо подобно тому, как любовь не имеет более близкой подруги, чем ревность, так она не имеет и большего врага; совершенно так же ничто не является более враждебным железу, чем ржавчина, которая рождается из него самого.

Чикада. Раз ты начал такое рассуждение, то и продолжай последовательно показывать остальное.

Тансилло. Так и сделаю. Я сказал выше о любви, что она являет мне рай; из этого видно, что любовь сама по себе не слепа и не сама делает некоторых влюбленных слепыми, но лишь при посредстве

низменных расположений субъекта; так бывает с ночными птицами, которые становятся слепыми при наличии солнца. Значит, сама по себе любовь освещает, проясняет, раскрывает интеллект, заставляет его проникать во все и вызывает чудесные эффекты.

Чикада. Мне кажется, что Ноланец выражает это в другом своем сонете.

[7]

Амур, что к истине влечет мой жадный взгляд,
Черно-алмазные затворы отпирает
И божество мое сквозь очи вглубь впускает,
Ведет его на трон, дает ему уклад,
Являет, что таят земля, и рай, и ад,
Отсутствующих лиц присутствие являет,
Прямым ударом бьет и силы возрождает,
Жжет сердце и опять целит его стократ.
Внемли же истине, презренная толпа,
Открой свой слух словам без лжи и без убранства,
Вели, коль силы есть, глядеть глазам своим,
Иди за Отроком, раз ты сама слепа:
Нестойкая, ты в нем клеймишь непостоянство,
Незрячая, его ты смеешь звать слепым!

Таким образом, любовь «являет рай», ибо дает понимание, усвоение, осуществление самых возвышенных дел или же дает величие, хотя бы внешне, любимым вещам; «отнимает рай», — это говорится о судьбе, так как она часто наперекор влюбленному не дает так много, как это являет любовь, и то, что любовь видит и чего жаждет — судьбе чуждо и противно. Жалует мне всякие блага, — говорится об объекте, потому что то, что указано перстом Амура, кажется [автору] делом единственным, главным и всеобъемлющим. У меня отнимает блага, — говорится о ревности, не потому, что она делает их отсутствующими, убирает их с глаз, но потому, что благо уже не является благом, но мучительным злом, а сладкое становится не сладким, но тоскливым и томительным. Так что сердце, то есть воля, благодаря любви обретает [вместо скорби] радость от самого своего желания, безотносительно к успеху. Разум, то есть сторона интеллектуальная, скучает, воспринимая судьбы, если она не нравится

любящему. Дух, то есть естественная страсть, обретает свежесть, будучи восхищен тем объектом, который дает радость сердцу и мог бы быть приятен разуму. Душа, то есть субстанция пассивная и чувствующая, испытывает тяжесть, то есть подавляется тяжелым грузом ревности, которая ее мучает.

К рассмотрению такого состояния добавлена вызывающая слезы жалоба, где сказано: кто избавит меня от борьбы и пошлет мне мир; или: кто отнимет у меня то, что ввергает меня в тоску, освободит от того, что так мне нравится, и откроет врата небес, дабы с признательностью принят был жар моего сердца и осчастливлены были источники моих очей? Далее, продолжая осуществлять свое намерение, поэт добавляет:

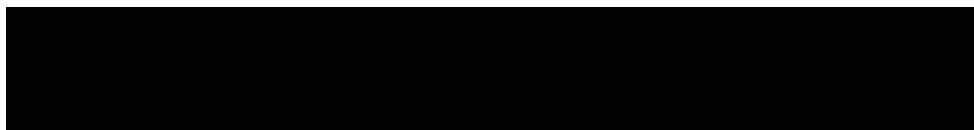
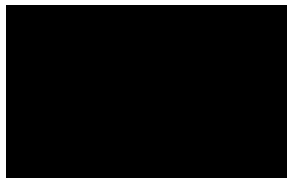
/8/

Ступай теснить других, мой злобный рок,
И ревность, — прочь из мира уходи ты!
Без вас могли б высокий дать урок
Твой светлый облик, о любовь со свитой!
Любовь дает крыла, рок — боль зажег;
Пред ней — я жив, пред ним — лежу убитый;
В нем — смерть, в ней — избавленье от обуз;
Она — опора, он — тяжелый груз.
Но так ли должно о любви сказать?
Она и он не есть ли суть и форма?
И не одна ль дана им власть и норма?
И не одна ли их на мне печать?
Не двое их! Они в единстве дали
Моей судьбе блаженство и печали!

Четыре начала и края двух противоположностей он хочет свести к двум началам и одной противоположности. Поэтому он говорит: ступай теснить других; это значит: довольно тебе, рок мой, так сильно подавлять меня, но так как ты не можешь существовать без своих действий, то направь твоё презрение в другую сторону. И прочь из мира уходи ты, ревность; ибо из остающихся двух прочих крайностей одна может заместить ваши чередования и функции, если ты, рок мой, даже будешь только моей любовью, а ты, ревность, не будешь чуждой субстанции его. Остается одна любовь, чтобы лишить меня жизни,

сжечь меня, дать мне смерть и кости мои обратить в останки, — и вместе с тем она же вырвет меня у смерти, окрылит меня, оживит и поддержит. После этого два начала и одно противоречие сведутся к одному началу и к одной силе; вот почему и написано. Но так ли должен о любой сказать я? Если этот светлый облик, этот объект является ее владением, то он и представляется владением одной лишь любви, норма любви есть ее собственная норма, отпечаток любви, отразившийся в глубине моего сердца, есть ее собственный отпечаток; оттого-то, говоря о светлом облике, я говорю о любви с ее вездесущей свитой.

Конец, первого диалога



Диалог второй

Собеседники:

Тансилло

и

Чикада

Тансилло. Теперь Энтузиаст начинает высказывать свои чувства и раскрывать раны, обозначенные на теле и в субстанции, то есть в существе души. Он говорит:

[9]

Несу любви высоко знамя я!
Надежды — лед, но кипяток — желанья;
Я нем, но голосит гортань моя;
Меня знобят и стужи и пыланья;
На сердце — искры; на душе — рыданья;
Я жив, но мертв, смеясь, но слезы лья;
Везде — вода, но пламя пышет рьяно;
Пред взором — море; в сердце — горн Вулкана;
Мне люб другой, но только не я сам;
Раскину ль крылья, — все к земле теснится;
Взнесу ль все вверх, — и должен вниз стремиться.
Все убегает, — раз гонюсь я по следам;
Кого ни позову, — не отвечает;
К кому стремлюсь, — бесследно исчезает.

В связи с этим хочу продолжить то, что недавно говорил тебе и что не нуждается в утомительных доказательствах, ибо оно очевидно, а именно: не существует ничего чистого и без примеси (потому-то некоторые и говорят, что ни одно сложное вещество не есть истинная сущность, подобно тому как составное золото не есть настоящее золото, а смешанное вино не есть чистое и подлинное); далее: все вещи состоят из противоположностей; откуда следует, что результаты

наших страстей, вследствие сложности вещей, никогда не имеют в себе некоей приятности без некоторой горечи; напротив, скажу и даже подчеркну еще раз, что если бы в вещах не было горького, то не было бы и приятного. Вот почему утомление ведет к тому, что мы находим удовольствие в отдыхе; а разлука является причиной того, что мы находим наслаждение во встрече; и вообще при исследовании всегда оказывается, что одна противоположность является причиной того, что другая противоположность очень желательна и нравится.

Чикада. Значит, не существует радости без противоположного ей?

Тансилло. Конечно, нет, как без противоположного нет и печали; об этом и свидетельствует пифагорейский поэт, когда говорит:

Так вот ждут и боятся, ликуют и страждут, и неба
Взыскуют, сокрытые тьмой и слепую темницей.

Таково, значит, то, что является причиной сложности вещей. Отсюда и получается, что никто не удовлетворяется своим положением, разве что какой-нибудь безумец или глупец, и это бывает тем больше, чем в более мрачной стадии своего безумия он находится: тогда он почти или даже совсем не сознает своей беды, радуется настоящему положению, не боясь будущего, удовлетворен тем, что он есть и отчего он таков, лишен угрызений или забот, связанных с тем, что есть или что может быть, и в итоге не сознает противоречивости, которая обычно изображается в виде дерева познания добра и зла.

Чикада. Отсюда следует, что невежество есть мать счастья и чувственного блаженства, а это последнее есть райский сад для животных, как это ясно видно из диалога «Тайна коня Пегаса», равно как из того, что говорит премудрый Соломон: «Кто увеличивает знания, тот увеличивает печаль».

Тансилло. А из этого вытекает, что героическая любовь есть мука, ибо она не пользуется настоящим, как животная любовь, но она испытывает влечение, зависть, подозрение и страх в отношении того, что будет, и того, чего нет, и того, что им противоположно. Поэтому, когда как-то вечером, после пирушки, один из наших соседей сказал: «Никогда я не был так весел, как сейчас», — то Джованни Бруно, отец Ноланца, ответил: «Никогда ты не был более глуп, чем сейчас».

Чикада. Значит, вы думаете, что тот, кто печален, — мудр, а тот, кто еще более печален, — тот еще мудрее?

Тансилло. Нет, напротив, я думаю, что в них сказывается иной вид безумия, и притом'—худший.

Чикада. Кто же тогда мудр, если безумен и тот, кто доволен, и тот, кто печален?

Тансилло. Тот, кто ни доволен, ни печален.

Чикада. Кто же? Тот, кто спит? Тот, кто лишен чувства? Кто мертв?

Тансилло. Нет, мудр тот, кто жив, наблюдает и понимает; тот, кто, рассматривая зло и добро, оценивает то и другое, как вещи изменчивые и пребывающие в движении, изменениях и превратностях (в том смысле, что один конец противоположности есть начало другого конца, и край одного есть начало другого), кто не теряется, не преисполняется гордыни, остается сдержанным в склонностях и умеренным в чувственности. Таким образом, для него наслаждение не есть наслаждение, поскольку в настоящем он видит его конец. Равным образом, мучение для него не есть мучение, так как силою умозрения он видит его окончание уже в настоящем. Так мудрый видит все вещи в изменении, как вещи, которых уже нет, и утверждает, что они всего лишь суэта и ничто, поскольку время и вечность имеют измерителем и точку и линию.

Чикада. Таким образом, мы никогда не можем считать себя удовлетворенными или неудовлетворенными, если не отдаем себе отчета в своей мании, которую могли бы со всей четкостью признать; значит, всякий, кто в этом не разбирается, и, следовательно, всякий, кто не участвует в этом, не будет мудрецом; в итоге выходит, что все люди — безумцы.

Тансилло. Не намереваюсь делать такой вывод, поэтому назову самым мудрым того, кто мог бы иногда действительно сказать противоположное вышесказанному: Никогда не был я менее веселым, чем теперь; или же: Никогда не был я менее печальным, чем сейчас.

Чикада. Как? Ты не видишь двух противоположных качеств там, где имеются две противоположных страсти? Почему, спрошу я, ты считаешь их обеих добродетелями, вместо того чтобы называть одну — пороком, а другую — добродетелью: минимальную веселость и минимальную печаль?

Тансилло. Потому что обе противоположности в их крайнем виде (то есть поскольку они дают сверхбольшое) — суть пороки, ибо они переходят границу; и те же самые противоположности (поскольку они

дают меньшее) становятся добродетелями, ибо сдерживают себя и заключены в пределы.

Чикада. Разве менее удовлетворенное состояние и менее печальное не являются: одно — добродетелью, а другое — недостатком? Разве оба суть добродетели?

Тансилло. Скажу даже, что они — одна и та же добродетель, потому что порок — там, где противоречие; противоречие же больше всего там, где крайность; большая противоположность ближе к крайности; минимальная противоположность или отсутствие ее — в середине, где противоречия сходятся к одному и безразличны; так между самым холодным и самым горячим есть более горячее и более холодное, а в срединной точке есть то, что можно назвать без противоречия теплым или же холодным, или ни теплым, ни холодным. Таким образом, тот, кто минимально доволен и минимально весел, находится в степени безразличия, в доме умеренности, то есть там, где заключена добродетель и условие сильной души, которая не сгибается ни перед южной бурей, ни перед северным штормом.

Итак, если вернуться к нашей проблеме, то героический энтузиазм, выясняемый в этой части, отличается от других более низких страстей не как добродетель от порока, но как недостаток, находящийся в подчинении более божественному или божественным образом отличается от недостатка, находящегося в подчинении более животному или по-скотски; таким образом, различие существует соответственно подчинениям и различным его модусам, а не соответственно форме бытия недостатка.

Чикада. Из того, что вы сказали, я легко могу умозаключить, каковы условия этого героического энтузиаста, который говорит, что имеет застывшие надежды и кипящие желания; они состоят не в умеренности ничтожества, а в чрезмерности противоположностей; в душе образуется раздвоенность, если она дрожит в холодных надеждах, кипит в пылких желаниях; если он пронзительно кричит от горячего желания и молчит от страха; если мечет искры из сердца в заботе о другом и от сострадания к себе льет слезы из глаз; если умирает от насмешки другого и живет в собственных жалобах; если (как тот, кто больше не принадлежит себе) любит других и ненавидит себя. Поэтому-то материя, как говорят физики, поскольку любит отсутствующую форму, постольку ненавидит настоящую. Таким

образом, восьмистишие сонета содержит умозаключение о борьбе, которую ведет душа с собой; а затем в следующих стихах пишущий говорит, что, если о*н украшает себя крыльями, то остальное для него превращается в тусклые камни, и показывает свои страсти в той борьбе, которую он ведет с внешними противоположностями.

Вспоминаю прочитанную у Ямвлиха, там, где говорится об египетских мистериях, следующую сентенцию: Нечестивец имеет раздвоенную душу, поэтому не может быть в согласии ни с самим собой, ни с другими.

Тансилло. Послушай теперь еще один сонет, соответствующий сказанному:

[10]

Какой удел дала природа мне!
Живу во смерти смертью живою,
Казним любовью казнию такую,
Что разом я и жив и мертв вполне.
Едва лишусь надежды, — ад во мне;
А есть надежда, — рай мечтами строю;
Но к полюсам запретны мне пути, —
Ни в ад, ни в рай мне не дано войти.
В груди не иссякает стон;
Я вижу с перекрестка две дороги,
Их колеей идти не могут ноги;
Сам за собой я мчусь, как Иксион,
Затем, что там, где безысходны споры,
Их не решат ни удила, ни шпоры.

Он показывает, до какой степени мучает эта разноголосица и эта внутренняя растерянность, когда страсть, оставляя середину умеренности, тянет к одной и к другой крайностям и настолько же уносит себя ввысь или вправо, насколько — вниз и влево.

Чикада. А как с тем, кто собственно не находится ни в одной, ни в другой крайности, равно как и не находится в состоянии или в пределах добродетели?

Тансилло. Он пребывает в добродетели тогда, когда держится посередине, отклоняя как одну, так и другую противоположность; поскольку же он склоняется к крайностям и влечется от одной к

другой, постольку в соответственной мере ему не хватает добродетели. Это является двойным пороком, состоящим в том, что он отступает от своей природы, совершенство которсГ: заключено в единстве; там, где сходятся противоположности, имеется сложность и добродетель. Вот что выражают слова: Живущий мертвец, или умирающий живой. Оттого-то и сказано, что мертвый живет во смерти смертию живою. Он — не мертвый, ибо живет в цели; он — не живой, ибо мертв в самом себе; он — лишен смерти, ибо рождает в пей мысли; он — лишен жизни, ибо она не растет или не чувствует себя. Далее: он чрезвычайно мал сравнительно с умопостигаемой высью и познанной слабостью своего ума; он наиболее высок в силу стремления к героическому желанию, которое далеко выходит за пределы; он — самый высокий в силу умственного желания, которое не имеет ни свойств, ни стремления приобретать мало-помалу; он — самый низкий из-за насилия над ним чувственной крайности, которая Тянет его в ад. И вот, находясь в состоянии такого сильного подъема и спуска, он чувствует в душе самое глубокое раздвоение, какое только можно чувствовать, он остается смущенным восстанием чувства, стремящего его туда, где разум обуздывает его, и, наоборот, именно это-то и выражено в следующем высказывании, в котором разум, под именем Филенио, задает вопросы, на какие под именем пастуха, отвечает Энтузиаст, который трудится в заботе о стаде или толпе своих мыслей, который пасет их с почтительностью и услужливостью к своей нимфе, то есть с привязанностью к цели, повинуюсь которой он стал пленником.

[11]

Филенио. Пастух!

Пастух. Кто кличет?

Филенио. Что с тобой?

Пастух. Страдаю!

Филенио. Чем?

Пастух. Жизнь и смерть меня равно томят.

Филенио. Кто виноват?

Пастух. Любовь!..

Филенио. Убийца!

Пастух. Знаю.

Филенио. А где она?

Пастух. Здесь, в сердце, сеет яд...

Филенио. Злосчастный!

Пастух. Ах!

Филенио. Ты гибнешь?

Пастух. Умираю...

Филенио. От взоров?

Пастух. Да! В них двери в рай иль в ад.

Филенио. Чего ж ты ждешь?

Пастух. Пощады...

Филенио. От кого же?

Пастух. Все от нее, кто сердце мукой гложет!

Филенио. Дождешься ли?

Пастух. Как знать!

Филенио. Твой ум мутится...

Пастух. Пусть так! Душе такой конец лишь мил.

Филенио. А что ж любовь?

Пастух. Молчит...

Филенио. А ты б молил!

Пастух. Молю, — и честь упрека не боится...

Филенио. Не лучше ль...

Пастух. Что?

Филенио. Бежать, забыть о ней?..

Пастух. Ее презрение мук моих страшней!

Здесь говорит страдающий; он жалуется на любовь не потому, что любит (ведь всякому истинно любящему нравится любить), но потому, что любит несчастливо, в то самое время, как летят стрелы, являющиеся лучами его светоча, которые, в той мере в какой они дерзки и упорны или же снисходительны и изящны, становятся сами вратами рая или же ада. При этом его поддерживает надежда на будущую и недостоверную милость, а подвергается он действию настоящего и определенного мученья. И как бы ясно он ни видел своего безумства, это, однако, не побуждает его исправиться или хотя бы разочароваться в нем, потому что он настолько в нем нуждается, что оно скорее нравится ему, как это и выражено в следующих строчках:

На гнет любви я сетовать не стану,
Я без нее отрады не хочу.

Затем он показывает другой вид неистовства, происходящий от некоего светоча разума, возбуждающий боязнь и уничтожающий вышесказанное, дабы он не перешел к действию, которое могло бы ожесточить или вызвать негодование у любимой. Поэтому он говорит, что существует надежда на будущее, хотя ему ничего не обещано и ни в чем не отказано, в силу чего он молчит и ничего не требует из боязни оскорбить почитаемое. Он не отваживается объясниться или заявить о себе, потому что был бы или отвергнут, или же обнадежен. Ведь, по его мнению, дурное скорее перевешивает в одном случае, чем хорошее в другом. Таким образом, он показывает, что готов скорее навсегда нести собственное мучение, чем открыть дверь возможностям волнений и печали у любимой.

Чикада. Этим он показывает, что его любовь по-истине героическая, ибо он считает своей главной целью изящество духа и склонность страсти, а не красоту тела, в которую не включена та любовь, которая носит в себе божественное.

Тансилло. Ты хорошо знаешь, что есть три вида платоновского вдохновения: один из них стремится к созерцательной или спекулятивной жизни, другой — к активной нравственности, третий — к праздной и чувственной

Таким образом, есть три вида любви, из которых один от рассмотрения физической формы возвышается до созерцания духовной и божественной; другой — только продолжает наслаждаться видением и общением; третий — от созерцания идет к страстному желанию касаться.

Из этих трех видов слагаются другие, соответственно чему первый или сопровождается вторым, или сопровождается третьим, или же все три вида соединяются вместе; из них каждый и все прочие множатся опять-таки в другие и, соответственно страстям Неистового, влекутся сильнее либо к цели духовной, либо к цели телесной, или же одинаково — к той и к другой.

Отсюда и получается, что из находящихся в этой власти сетей любви одни стремятся к той цели вкуса, которая берется собирать яблоки с древа телесной красоты, без получения (или по меньшей мере без надежды на получение) которых они считают пустой и достойной

осмеяния всякое любовное усилие. Этим путем следуют все наделенные варварским умом, которые не могут и не стараются облагородить себя, любя достойно, стремясь к блестящему и — самое высокое — приспособляя свои усилия и деяния к божественному, при котором только героическая любовь могла бы богаче и лучше развернуть свои крылья.

Другие стремятся вперед ради плода наслаждения, понимаемого как красота и изящество духа, который отражается в сиянии и блеске грации тела; причем некоторые из них, хотя и любят тело, и не мало мечтают о соединении с ним, и жалуются на удаленность от него, и печалются от разрыва с ним — все же боятся, чтобы в случае осуществления желания они не лишились бы той приветливости к себе, того общения с собой, того дружелюбия и согласия, которые для них являются самым главным; при такой попытке можно иметь не больше уверенности в благоприятном успехе, чем боязни потерять ту красоту, которая, как нечто славное и достойное, переливается перед очами их мысли.

Чикада. Многие добродетели и совершенства, которые возникают отсюда в человеческом уме, считают, о Тансилло, достойным делом искать, принимать, питать и хранить подобную любовь. Но следует вместе с тем очень заботиться о том, чтобы не пасть духом, не связать себя целью недостойной и низкой, дабы не пришлось стать участником низкого и недостойного деяния; об этом и сказано в сонете феррарского поэта:

Кто ногою попал в ловушку любви,
Тот стремись вырвать ногу, не запутавшись крыльями.

Тансилло. Сказать по правде, объект, который, кроме телесной красоты, не имеет другого блеска, достоин быть любимым только, так сказать, в целях продолжения рода, и мучиться же ради этого мне кажется делом свинским или жеребьячим. Я со своей стороны никогда не был очарован подобным делом больше, чем мог бы теперь быть очарованным какой-либо статуей или картиной, к которой я безразличен. Большим срамом для души было бы, если бы о своем грязном, низком, глупом и неблагородном уме (какой бы блестящей формой он ни прикрывался) она сказала: Боюсь его презренья больше, чем своего мученья.

Конец, второго диалога



Диалог третий

Собеседники:

Тансилло

и

Чикада

Тансилло. Утверждают, и так оно и есть в действительности, что существует несколько видов энтузиастов, которые все сводятся к двум родам, соответственно тому, что одни показывают только слепоту, глупость и неразумный порыв, похожий на бессмысленную дикость, тогда как другие пребывают в некоей божественной отрешенности, благодаря чему кое-кто из них действительно становится лучше обыкновенных людей. Они тоже бывают двух видов. Одни, являясь местопребыванием богов или божественных духов, говорят и действуют удивительным образом, несмотря на то, что ни сами они, ни другие люди не понимают причины этого. Обыкновенно они побуждаются к этому, будучи прежде недисциплинированными и невежественными; в них, лишенных собственного духа и сознания, входит, словно в пустую комнату, божественное сознание и дух. Последний меньше может иметь места и проявить себя у тех, кто полон собственным разумом и сознанием; ведь божественный дух иногда хочет, чтобы мир определенно знал, что если эти люди говорят не по собственному усердию и опыту (а это очевидно), то, следовательно, они говорят и действуют по высшему разумению; оттого-то большинство людей заслуженно питает к подобным существам великое удивление и веру. Другие, будучи опытны и искусны в созерцаниях и имея прирожденный светлый и сознающий дух, по внутреннему побуждению и природному порыву, возбуждаемому любовью к божеству, к справедливости, к истине, к славе, огнем желания и веянием целеустремления обостряют в себе чувство, и в страданиях своей мыслительной способности зажигают свет разума, и с ним идут дальше обычного. И в итоге такие люди

говорят и действуют уже не как сосуды и орудия, но как главные мастера и деятели.

Чикада. Какую же из этих двух разновидностей считаете вы лучшей?

Тансилло. У первых больше достоинств, власти и действенности внутри, потому что в них пребывает божественность; вторые — сами по себе более достойны, более сильны и действенны и сами по себе божественны. У первых достоинство осла, везущего святое причастие; у вторых — достоинство священного предмета. В первых ценится и видно в действии божество, и это вызывает удивление, обожание и повиновение; во вторых уважается и видно превосходство собственной человечности.

Но вернемся к нашей теме. Энтузиазм, о котором мы рассуждаем в этих высказываниях и который мы видим в действии, — это не забвение, но припоминание; не невнимание к самим себе, но любовь и мечты о прекрасном и хорошем, при помощи которых мы преобразовываем себя и получаем возможность стать совершеннее и уподобиться им. Это — не воспарение под властью законов недостойного рока в тенетах звериных страстей, но разумный порыв, идущий вслед за умственным восприятием хорошего и красивого и знающий, к чему следовало бы приспособляться в наслаждении; таким образом, от этого благородства и света вспыхивает он сам и облекается в то высокое качество и свойство, благодаря которым представляется знаменитым и достойным. Он становится богом от умственного прикосновения к этому божественному объекту, и, во-вторых, его мысль занята только божественными вещами, и он выказывает нечувствительность и бесстрашие в делах, которые обычно больше всего воспринимаются чувствами и больше всего волнуют людей; потому-то он ничего не боится и из любви к божественному презирает другие удовольствия и совсем не думает о жизни. Это — не ярость темной желчи, которая, не раздумывая, не рассуждая, пренебрегая осторожностью, заставляет его блуждать по воле случайностей в порывах хаоса бури, наподобие тех, которые, преступив известные законы божественной Немезиды, осуждены на истребление фуриями и потому взволнованы диссонансом как телесным в виде соблазнов, разрушений и болезней, так и духовным в виде нарушения гармонии сил познания и желания. Напротив, это — огонь, зажженный в душе

солнцем ума, и божественный порыв, расправляющий его крылья. Поэтому, все более и более приближаясь к солнцу ума, отбрасывая ржавчину человеческих забот, он становится чистопробным золотом, обретает чувство божественной и внутренней гармонии, согласовывает свои мысли и деяния с симметрией закона, заложенного во всех вещах. Не как опьяненный чашей Цирцеи идет он, продираясь сквозь чащи и наталкиваясь то тут, то там на рвы, то на одни, то на другие камни; и не как блуждающий Протей, меняющий один облик на другой и никогда не находящий места, способа и вещества, чтобы остановиться и закрепиться. Но, не теряя закала и гармонии, он одерживает победу и господствует над ужасными чудовищами, и при помощи того самого, что вело к падению, он легко возвращается к согласию с теми внутренними инстинктами, которые, как девять муз, пляшут и поют вокруг сияния всемирного Аполлона; и под покровом чувственных образов и материальных вещей он идет, разумея божественные установления и советы. Правда, иногда доверчиво идя следом за своим проводником, Амуром, являющимся его двойником, он порой видит, что его усилия обмануты встречающимися препятствиями, когда, больной и неистовый, он бросает в пропасть любовь к тому, чего не может понять, и, смущенный неисчерпаемостью божества, опускает иногда руки; однако вслед за тем он возвращается вспять, чтобы волею принудить себя к тому, чего не мог достичь умом. Правда также и то, что обычно он, прогуливаясь, влечется то к одной, то к другой форме своего двойника Амура, поскольку главный урок, который дает ему Амур, состоит в том, чтобы он созерцал божественную красоту в ее тени (когда не может созерцать ее в зеркале) и, как жених Пенелопы, поддерживал бы отношения со служанками, когда ему не удастся разговаривать с хозяйкой. Таким образом, в заключение вы можете из сказанного понять, каков этот Энтузиаст, образ которого предстанет перед вами из следующих строк:

Когда летит на пламя мотылек,
 Он о своем конце не помышляет;
 Когда олень от жажды изнемог,
 Спеша к ручью, он о стреле не знает;
 Когда сквозь лес бредет единорог,
 Петли аркана он не примечает;
 Я ж в лес, к ручью, в огонь себя стремлю,
 Хоть вижу пламя, стрелы и петлю.
 Но если мне желанны язвы мук,
 Тогда зачем огонь так едок ранам?
 Зачем порывы стянуты арканом?
 Зачем меня так остро жалит лук?
 Зачем везде мне в сердце, в душу, в разум
 Костры, арканы, стрелы метят разом?

Здесь показано, что любовь Энтузиаста — это не любовь бабочки, оленя и единорога, которые убежали бы, если б обладали знанием того, каковы ожидающие их огонь, стрела и аркан, но которые лишь чувствуют потребность в удовольствии; между тем как Энтузиастом руководит самая чуткая и дальнзоркая страсть, которая заставляет его больше любить этот огонь, чем иную прохладу, и больше любить эту муку, чем какую-либо радость, и больше любить эти узы, чем иную свободу. Ибо это зло не есть абсолютное зло и ложь, но в известной мере оно может посчитаться добром сообразно тому или иному взгляду; так, старый Сатурн в пожирании собственных детей видел закуску. Ведь это зло, с точки зрения вечности в абсолютном смысле, может почитаться добром или тем, что ведет к нему, поскольку этот огонь есть горячее желание божественных дел, эти стрелы суть впечатление от лучей красоты высшего света; эти оковы — только виды истины, которые соединяют нашу мысль с первоистиной, равно как и виды блага, которые соединяют и связывают ее с первым и высочайшим благом. К этой мысли я был близок, когда писал:

Так чист костер, зажженный красотою,
 Так нежны путы, вяжущие честь,
 Что боль и рабство мне отрадно несть,
 И ветер воли не манит мечтою.
 Я цел в огне и плотью и душою,
 Узлы силков готов я превознести,
 Не страшен страх, в мученьях сладость есть,
 Аркан мне мил, и радуюсь я зною.
 Так дорог мне костер, что жжет меня,
 Так хороши силков моих плетенья,
 Что эта мысль сильнее, чем все стремленья!
 Для сердца нет прелестнее огня,
 Изящных уз желанье рвать не смеет,
 Так прочь же, тень! И пусть мой пепел тлеет!

Всякая любовь (если она героическая, а не чисто животная, именуемая физической и подчиненная полу, как орудию природы) имеет объектом божество, стремится к божественной красоте, которая прежде всего приобщается к душам и расцветает в них, а затем от них, или, лучше сказать, через них сообщается телам; поэтому-то благородная страсть любит тело или телесную красоту, так как последняя есть выявление красоты духа. И даже то, что вызывает во мне любовь к телу, есть некоторая духовность, видимая в нем и называемая нами красотой; и состоит она не в больших или меньших размерах, не в определенных цветах и формах, но в некоей гармонии и согласности членов и красок. Это показывает известное, доступное чувствам, родство тела с духом у более острых и проницательных умов. Отсюда вытекает, что они легче и сильнее влюбляются, равно как легче перестают любить, и более сильно презирают, с той легкостью и с той напряженностью, которые могли бы быть в переменах у духа грубого; это и обнаруживает себя в некоторых движениях и в выраженных намерениях; таким образом, эта грубость передается от души к телу и заставляет его проявляться на тот же лад, как проявляется и прекрасное. Значит, красота тела обладает силой воспламенять, но отнюдь не связывать, она делает так, что любимый не в силах убежать, если не поможет милосердие, которого просят у

духа честь, равно как благодарность, вежливость, нежность. Вот почему огонь костра, который охватывает меня, я назвал красивым, чистым, равно как нежными, благородными назвал узы, которые связывают меня.

Чикада. Не всегда следует так думать, Тансилло; иной раз, хотя мы и проявляем порочность духа, все же мы не перестаем быть воспламененными и связанными им; таким образом, хотя разум и видит зло и предосудительность подобной любви, он все же не в силах отбросить беспорядочное влечение. В таком именно состоянии был Ноланец, когда писал:

[14]

Увы, увы! Неистовая кровь
Приказывает мне считать опорой
Ту муку неизбывную, которой
Как счастьем дарит меня любовь.
Душа моя! Иль ты забыла время,
Когда иным речам внимала ты?
Зачем же ныне тирании бремя,
Держащее в оковах маяты,
Я больше, чем стремленье к воле, славлю?
Довольно! Я свой парус ветру ставлю,
Дабы, презрев и гавань и лазурь,
В желанную нестись опасность бурь.

Тансилло. Это происходит, когда и то и другое душевное состояние ущербно и окрашено как бы одной краской, поскольку любовь возбуждается, горит и утверждается в силу соответствия. Таким образом, ущербные люди легко добиваются согласованных действий в общей своей ущербности. Пользуюсь случаем добавить еще то, что знаю по опыту: хотя душа раскрывает пороки, ненавистные мне, как, например, грязную скупость, подлейшую бездонную жадность, как у Данаид, неблагодарность за полученные милости и одолжения, любовь к лицам, во всех отношениях низким (из числа этих пороков более всего мне противен последний, потому что лишает надежды любящего, если он становится или уже стал более достойным и более приемлемым для любви), тем не менее не было случая, чтобы я не горел любовью к телесной красоте. Впрочем, любил я ее без благого

стремления, поскольку от этого я испытывал не больше печали, чем чувствовал радость от ее немилости и нерасположения.

Чикада. Все же очень точно и уместно различие, которое делают между любовью и тяготеньем к добру.

Тансилло. Правильно, потому что мы желаем добра многим, то есть хотим, чтоб они были умными и справедливыми; однако мы не любим их, поскольку они несправедливы и невежественны; точно так же мы любим многих, потому что они красивы, но не желаем им добра, так как они его не заслуживают. И среди прочего, ценимого любящим, среди того, что не заслужено, первое, это — быть любимым; и хотя он не может воздержаться от любви, тем не менее его огорчает это и он выражает свое сожаление, как выражено выше:

Увы, увы! Неистовая кровь Приказывает мне считать опорой Ту муку неизбывную.

В противоположном состоянии я бывал либо из-за другого, схожего телесного объекта, либо из-за воистину божественного субъекта, — об этом я и писал:

[15]

Хоть тяжкой мукой ты меня томила,
Любовь, тебе я славу воздаю,
За то, что ты мне сердце полонила,
Проникнув через раны в грудь мою,
Чтоб показать, как чудотворна сила
В том божестве, кому хвалу пою.
Пусть для толпы мой жребий непригляден,
Надеждой нищ, а вождельем жаден, —
Ты помогай мне в подвиге моем!
И если даже цель недостижима,
Иль второпях душа несется мимо,
Я счастлив тем, что мчит ее подъем,
Что ввысь всегда меня ты устремляешь
И из числа презренных отделяешь.

Любовь пишущего здесь в самом деле героическая и божественная, и в качестве таковой мне хочется понять ее, хотя он и признает, что из-за нее подвержен многим мукам; ведь всякий любящий, разъединенный и отделенный от любимой (с которой, поскольку он

соединен страстью, постольку хотел бы быть соединенным в действительности), пребывает в горе и в печали; он мучается и волнуется не потому, что любит (если только чувствует себя охваченным достойнейшей и благороднейшей любовью), но потому, что лишен удовлетворения, которое получил бы, если бы соединился с целью своего стремления. Печалится он не из-за желания, которое поддерживает в нем жизнь, но из-за тяжести усилия, мучающего его. Потому-то некоторые в силу этой представляющейся злою судьбы считают его в таком положении несчастным, как осужденного на подобную муку; но сам он из-за этого не перестает признавать свою обязанность в отношении Амура и продолжает воздавать ему почет, потому что тот показал очам его ума вид умопостигаемого, при помощи которого в этой земной жизни, в этой телесной темнице, в подчиненности этим нервам и в сдерживаемости этими костями ему дана возможность созерцать божество более возвышенно, чем если бы были открыты другие виды и подобия божества.

Чикада. Следовательно, божественный и живой объект, о котором он говорит, есть более высокий вид умопостигаемого, чем он мог бы получить по своему представлению о божестве, а отнюдь не какая-нибудь телесная красота, которая затемнила бы его мысль, как это бывает, когда она явлена поверхностным чувством.

Тансилло. Правильно, потому что никакая чувственная вещь, ни виды ее не может подняться до подобного достоинства.

Чикада. Каким же образом этот вид — божество — выявляется при помощи объекта, если, как мне представляется, истинный объект и есть само божество?

Тансилло. Именно там-то и находится искомый объект, последний и совершеннейший, а не в этом состоянии, где можно лицезреть бога лишь по тени и по отражению в зеркале, в силу чего он может быть лишь некоторым подобием объекта — не той телесной красоты и превосходства, которые могут быть образованы и приобретены силою чувства, но той, какая может быть образована в уме силою мысли. Тот, кто находится в подобном состоянии, теряет всякого рода любовь и уважение — как чувственные, так и умопостигаемые, потому что такое соединение с помянутым светочем делается само этим светочем и, следовательно, делается само богом. Ведь оно сосредоточивает в себе божество, пребывая в боге с помощью того намерения, которым оно

проникает в божество (в меру возможности), и так как бог пребывает в нем, поскольку, проникнув и приобщившись к нему (в меру возможности), принимаешь и понимаешь его в этом приобщении. А этим видом и подобием питается человеческий ум из этого более низкого мира, но не без того, чтобы ему не было дано созерцать более чистыми очами красоту божества. Так бывает с тем, кто занят каким-либо прекраснейшим и изукрашенным зданием и, рассматривая в нем одно за другим, любит; он чувствует удовлетворение, питается благородным удивлением; но если затем он видит, что пришел господин этих творений, наделенный несравнимо большей красотой, то рассматривавший покидает всякую заботу и мысль об этом здании и весь отдается созерцанию того господина. Вот, значит, какова разница между этим состоянием, где мы видим божественную красоту в умопостигаемых видах, извлеченных нами из следствий, деяний, искусных обработок, теней и подобий ее, и между другим состоянием, где нам дано рассматривать ее в ее собственном присутствии.

Поэтому он и говорит далее: Ты помогай мне в подвиге моем, потому что (как отмечают пифагорейцы) душа обращается и движется около бога, подобно телу — вокруг души.

Чикада. Итак, тело не есть местопребывание души?

Тансилло. Нет, потому что душа находится в теле не локально, но как внутренне присущая форма и внешне присущий формообразователь, то есть, как то, что образует члены тела и формирует его состав изнутри и извне. Так что тело есть в душе, душа есть в мысли, мысль есть или бог, или в боге, как говорит Плотин; подобно тому как, по сущности своей, душа есть в боге, который и есть ее жизнь, так, при помощи умственной деятельности и последующей воли после такого действия, душа соотносится к его свету и блаженному объекту. Таким образом, эта страсть героического энтузиазма достойно вкушает от столь высокого занятия, однако не потому, что объект бесконечен даже в самом простом акте, а наша познавательная потенция может воспринять бесконечное только в елове, или в некотором способе высказывания, так сказать, в некотором потенциальном или выраженном рассуждении; она является как бы тем, что идет вслед за бесконечной волной, чтобы конституировать себе цель (*un fine*) там, где нет конца.

Чикада. Это и составляет ее достоинство, потому что последняя цель не должна иметь конца, именно в силу того она последняя цель. Значит, она бесконечна в намерении, в совершенстве, в существе и в любом ином способе быть концом.

Тансилло. Ты говоришь правильно. Но в сей жизни эта пища такого рода, что больше разжигает, чем может утолить желание; это хорошо показывает божественный поэт, сказавший: Устала душа, жаждущая бога живого, и в другом месте: Ослабли глаза мои, взирающие на небеса. Поэтому и сказано в сонете:

И если даже цель недостижима
Иль второпях душа несется мимо,
Я счастлив тем, что мчит ее подъем, —

а это означает, что душа постольку утешается и обретает всю славу, какую может получить в таком состоянии, поскольку она является участницей того последнего восторга человека, в котором человек этого состояния, как мы видим, находится теперь.

Чикада. Мне кажется, что перипатетики (как объясняет Аверроэс) понимают это именно так, когда говорят, что высочайшее счастье человека состоит в совершенствовании посредством умозрительного знания.

Тансилло. Да, это так; это сказано очень хорошо, потому что в том состоянии, в каком мы находимся, мы не можем ни желать, ни получить большего совершенства, чем то* в каком пребываем, когда наш интеллект, используя некое благородное умопостигаемое качество, соединен или с отдельной субстанцией, как говорят перипатетики, или с божественной мыслью, как выражаются свойственным им способом платоники.

Теперь можно рассуждать о душе или о человеке в другом состоянии и модусе бытия, который может быть найден или предположен.

Чикада. Но какое совершенство или удовлетворение может найти человек в том познании, которое несовершенно?

Тансилло. Оно никогда не будет совершенным в той степени, чтобы высочайший объект мог быть познан, но лишь постольку, поскольку наш интеллект способен к познаванию; для этого достаточно, чтобы

божественная красота представилась ему в том и в ином состоянии, соответственно тому, как расширился горизонт его зрения.

Чикада. Но не все могут достигнуть того, чего могут достигнуть один-два человека.

Тансилло. Достаточно, чтобы стремились все; достаточно, чтобы всякий делал это в меру своих возможностей, потому что героический дух довольствуется скорее достойным падением или честной неудачей в том высоком предприятии, в котором выражается благородство его духа, чем успехом и совершенством в делах менее благородных и низких.

Чикада. Нет сомнения, что лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф.

Тансилло. В связи с этим я и написал следующий сонет:

[16]

Когда свободно крылья я расправил,
Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной;
Так дол презрев, я ввысь полет направил.
Дедалов сын себя не обесславил
Паденьем; мчусь я той же вышиной!
Пускай паду, как он: конец иной
Не нужен мне, — не я ль отвагу славил?
Но голос сердца слышу в вышине:
«Куда, безумец, мчимся мы? Дерзанье
Нам принесет в расплату лишь страданье...»
А я: «С небес не страшно падать мне!
Лечу сквозь тучи и умру спокойно,
Раз смертью рок венчает путь достойный...»

Чикада. Я понимаю, когда вы говорите: Я счастлив тем, что ввысь меня ты устремляешь, но не понимаю, когда говорите: и из числа презренных отделяешь, — разве только вы разумеете под этим выход из платонических пещер и отход от условий глупой и низкой толпы, считая, что пользующиеся таким воззрением не могут быть многочисленны.

Тансилло. Вы толкуете это очень хорошо. Кроме того, в числе презренных можно понимать тело и чувственное познание, от которого

необходимо подняться и освободиться тому, кто хочет соединиться с природой противоположного порядка.

Чикада. Платоники говорят о двух родах связей, которыми душа прикреплена к телу. Один есть некий живительный акт, который нисходит, как луч, от души в тело; другой есть некое жизненное качество, которое возникает в теле от этого действия. Эта благороднейшая движущая величина, то есть душа, — как, по вашему мнению, может она быть отделенной от неблагородной величины, каковой является тело?

Тансилло. Конечно, на такой лад этого понять нельзя; но соответственно тому пониманию, что силы, не впитанные и не плененные лоном материи и порой точно усыпленные и опьяненные, как бы еще заняты образованием материи и оживлением тела; иной раз, словно пробудившись и вспомнив о себе самих, и вновь признавши свое начало и род, они обращаются к более высоким вещам и сияются подняться к умопостигаемому миру, как к своему прирожденному местопребыванию; иной раз такие силы, из-за обращения к вещам более низким, перебрасываются в судьбы рода человеческого. Эти два движения показаны в двух видах метаморфоз, выраженных в следующем стихотворении:

[17]

Тот бог, что мир громами сотрясает,
К Данае сходит золотым дождем,
Он Леду видом лебедя прельщает,
Он Мнемозину ловит пастухом,
Драконом Прозерпину обнимает,
А сестрам Кадма предстает быком.
Мой путь иной: едва лишь мысль взлетает,
Из твари становлюсь я божеством.
Сатурн был лошаком, Нептун — дельфином,
Лозою — Вакх, а бог богов — павлином,
Был вороном пресветлый Аполлон,
Был в пастуха Меркурий превращен,
А у меня — обратная дорога:
Меня Любовь преображает в бога!

В природе существует революция и круговорот, в которых при помощи совершенства и содействия других сил высшие вещи, падая, переходят в низшие, а низшие вещи в силу собственного превосходства и счастья, поднимаясь, делаются высшими. Между тем пифагорейцы и платоники считают, что душе свойственно в некоторые времена не только по самопроизвольному желанию обращаться к постижению природы, но и еще по необходимости внутреннего закона, предписанного и отмеченного фатальным велением, идти к нахождению собственной справедливо предопределенной участи. И они говорят, что души не столько по некоему определению и собственному желанию, как мятежники, отклоняются от божества, сколько влекутся в определенной последовательности, охваченные страстью, к материи; поэтому не по свободному намерению, но по некоторой таинственной последовательности они идут к падению. Это-то и есть склонность, которая ведет их к продолжению рода, как к некоему меньшему благу. (Меньшему благу, говорю я, поскольку продолжение рода принадлежит к частной природе, а не к всеобщей природе, в которой ничего не происходит без наилучшей цели, которая располагает все сообразно справедливости.) Проходя через это состояние, продолжения рода (путем превращений, которые следуют, чередуясь), души снова возвращаются к высшим одеяниям.

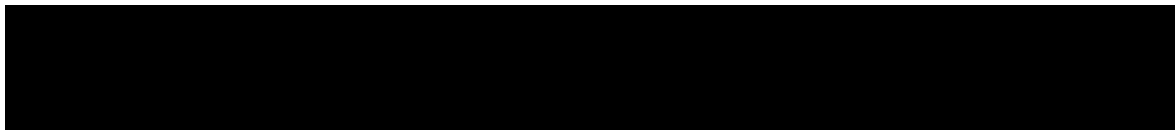
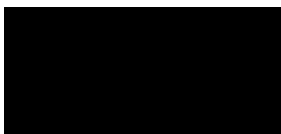
Чикада. Так считают те, кто полагает, что души движутся необходимостью судьбы и что у них нет собственного решения, которое фактически вело бы их?

Тансилло. Необходимость, судьба, природа, решение, воля в вещах, организованных справедливо и без ошибок, — Все они сливаются воедино. Кроме того, как сообщает Плотин, иные считают, что некоторые души могут избежать наличествующего в них зла, если, прежде чем у них образуется телесное одеяние, они, зная об опасности, начинают мыслить. Потому что мысль поднимает их до самых возвышенных вещей так же, как воображение опускает их до низких вещей; мысль удерживает их в устойчивом и неизменном состоянии так же, как воображение — в движении и непостоянстве; мысль всегда представляет себе единство, тогда как воображение всегда блуждает, представляя себе всевозможные образы. А между обоими находится способность к здравомыслию, которое составлено из всего в качестве свойства, где совпадает единое со многим,

неизменное — с меняющимся, движение — с покоем, низшее — с высшим.

Вот это-то превращение и перемена изображены в круге метаморфоз, где в значительной части восседает человек, в глубине лежит зверь, слева спускается получеловек-полу-зверь, а справа поднимается полузверь-получеловек. Это превращение выявляет себя там, где Юпитер, соответственно различию страстей и их склонностям к низшим вещам, облекается в разные образы, принимая формы зверя; та-ким-то образом некоторые боги переселяются в формы низкие и чуждые. И наоборот, движимые чувством собственного благородства, они вновь принимают собственную и божественную форму, равно как и героический энтузиаст, который, поднимаясь при помощи восприятия вида божественной красоты и доброты на крыльях ума и сознательной воли, возвышается до божества, покидая форму более низкого существа. Поэтому и сказано, что из субъекта более низкого я делаюсь богом, меня любовь преображает в бога из низшей вещи.

Конец третьего диалога



Диалог четвертый

Собеседники

Тансилло

и

Чикада

Тансилло. Таким выявляет себя рассуждение о героической любви, поскольку она стремится к собственному объекту, который есть высшее благо, и поскольку ей присущ героический ум, стремящийся соединиться с собственным объектом, а именно: с первоистиной, или с абсолютной истиной. В первом разделе изложена вся ее сущность и направленность; строение же ее описывается в пяти следующих беседах.

И вот говорится следующее:

[18]

Средь чащи леса юный Актеон
Своих борзых и гончих псов спускает,
И их по следу зверя посылает,
И мчится сам по смутным тропам он.
Но вот ручей: он медлит, поражен, —
Он наготу богини созерцает:
В ней пурпур, мрамор, золото сияет;
Миг, — и охотник в зверя обращен.
И тот олень, что по стезям лесным
Стремил свой шаг, бестрепетный и скорый,
Своею же теперь растерзан сворой...
О разум мой! Смотри, как схож я с ним:
Мои же мысли, на меня бросаюсь,
Несут мне смерть, рвя в клочья и вгрызаясь.

Актеон означает интеллект, намеривающийся охотиться за божественной мудростью, за восприятием божественной красоты. Он

спускает сторожевых и борзых псов. Одни из них проворнее, другие сильнее. Поэтому действие интеллекта предшествует действию воли; но воля более мужественна и действенна, чем интеллект; ведь человеческому интеллекту более приятны, нежели понятны, божественная доброта и красота; кроме того, любовь движет и толкает интеллект на то, чтобы он ей предшествовал в качестве светильника. В лесах — означает в местах диких и уединенных, посещаемых и исследуемых самым незначительным числом людей, где поэтому нет большого количества следов. Юный — малоопытный и малопрактичный, у которого жизнь коротка, а энтузиазм неустойчив. На сомнительный путь — неуверенности и двойственности разума и страсти, обозначивших себя буквой «игрек» в имени Пифагора, где представляется более занозистым, несглаженным и пустынным тот правильный и горячий путь, на который Актеон спускает борзых и сторожевых псов по следу лесных зверей, которые суть умопостигаемые виды идеальных концепций, а эти концепции — тайные, взыскуемые немногими, посещаемые в высшей степени редко, да и не отдающие себя всем тем, кто их ищет. И вот меж вод, то есть в зеркале подобий, в делах, где отражается действенность доброты и блеск божественности, а эти дела обозначены понятием вод высших и низших, находящихся под и над небесным сводом, он созерцает самую красивую грудь и лицо, то есть могущество и действие внешнее, которые можно видеть по одеянию и через созерцание и применение смертной или божественной мысли человека или божества.

Чикада. Думаю, что вы не делаете тут сравнения и не считаете как бы однородными божественное и человеческое познание, которые по способу понимания в высшей степени различны, хотя по теме — тождественны.

Тансилло. Так оно и есть. Сказано: в ней пурпур, мрамор, золото, ибо то, что в получившей свой облик телесной красоте есть красное, белое и желтое, означает в божестве: пурпур божественной цветущей мощи, золото божественной мудрости, мрамор божественной красоты, до созерцания которых пифагорейцы, халдеи, платоники и другие пытались возвыситься наилучшим способом, каким только могли. Видит обращенный в зверя охотник, понимает, насколько может, что он становится предметом охоты: шел за добычей и сам стал добычей

этот охотник в силу действия интеллекта, при помощи которого он повертывает вещи, изучаемые в самих себе.

Чикада. Понимаю, потому что он формирует умопостижимые виды на свой лад и соразмеряет их со своими способностями, так что они воспринимаются сообразно свойству того, кто их воспринимает.

Тансилло. Это и есть охота при помощи действия воли, в итоге которой охотник обращается в предмет охоты.

Чикада. Понимаю, потому что любовь преобразует и обращает его в предмет любви.

Тансилло. Ты знаешь, что интеллект воспринимает вещи умопостижаемо, то есть сообразно своим собственным свойствам, тогда как воля берет вещи натурально, сообразно их значению в себе. Так Актеон, со своими мыслями, своими собаками, искавшими вне себя благо, мудрость, красоту, лесного зверя тем способом, каким идет гон, когда есть то, за чем гонятся, — Актеон, восхищенный всей этой красотой, сам становится добычей и видит себя обращенным в то, что он искал; и получается, что он для своих псов, для своих мыслей делается желанной целью, потому что, уже имея божественное в себе, он не должен искать его вне себя.

Чикада. Поэтому-то и сказано, что царство божие внутри нас, и божественное в нас находится благодаря силе преобразованного ума и воли.

Тансилло. Правильно! Так же, как Актеон, становящийся добычей своих псов, преследуемый собственными мыслями, бежит, направляясь новым путем, так и Энтузиаст обрел обновление, действуя божественно и более легко, то есть проворнее и бодрее, в чаще лесов, в пустынях, в области вещей непостижимых. Из человека низменного и обыкновенного он становится редким и героическим, обладателем редкого поведения и понимания, ведущим необычайную жизнь. Тут-то ему и причиняют смерть большие псы, свои и чужие; тут он кончает свою жизнь, по мнению мира, безумного, чувственного, слепого, фантастического, и начинает жить интеллектуально; он живет жизнью богов, питаясь амброзией и опьяняясь нектаром.

Далее, под видом другого уподобления, описывается способ, который он использует для достижения цели, там говорится:

Пустынный путь ведет меня гуда,
Где разум мой восторгом наполняет.
Останься здесь! Здесь все тебя питает
Возможностью искусства и труда.
Здесь возродись! Из твоего гнезда, —
Наперекор тому, что рок мешает, —
Пускай сюда полет свой направляет
Твоих птенцов бездомная чреда.
Иди ж, — и да познаешь изумленье
Нежданных встреч! И пусть тебя ведет
Тот бог, кого глупец слепым зовет.
Иди, храня священное почтение,
К той полноте, что миру зодчий дал, —
И не лети ко мне, когда чужим ты стал.

Движение вперед, ранее олицетворенное в виде охотника, натравливающего своих псов, здесь изображено в виде крылатого сердца. Из клетки, где оно пребывало в лени и покое, сердце выпущено на волю, чтобы свить высоко гнездо и выпестовать птенцов, свои мысли, ибо пришло время, когда исчезают препятствия, которые воздвигались извне тысячью причин, а изнутри — естественной глупостью. Так вот, освободи свое сердце, чтобы создать для него самые лучшие условия, поддерживая его в более высоких целях и намерениях, потому что прочнее воскрылятся те силы души, которые еще платониками обозначались в виде двух крыльев. И дай им руководителем то божество, которое слепая чернь считает слепым и безумным, — я имею в виду Амура: он, по милости и по благодати неба, обладает силой преобразовать сердце как в иную, взыскуемую природу, так и в то состояние, из которого было изгнано. Оттого-то Энтузиаст и говорит: И не возвращайся ко мне, если ты станешь чужим. Таким образом, я могу сказать, не возмущаясь, словами другого поэта:

Увы, своим покинут сердцем я,
И свет очей моих — уж не со мною!

Далее он описывает смерть души, именуемую кабаллистами смертью от поцелуя, изображенной в «Песне Песней» Соломона, где возлюбленная говорит:

Пусть лобзает меня он лобзанием уст своих...

Ибо слишком грубая любовь своим ранением заставляет страдать меня...

Другими же она именуется сном, — именно о нем говорит псалмопевец:

Стало явно, что я в мои очи сон допустил,
И вежды мои уснули,
И с ними уйду я в мирный покой.

Потому-то душа, которая томится, будучи мертвой в себе и живой в своем объекте, говорит так:

[20]

Безумцы, пестуйте свои сердца!
Мое же ушло далекою тропою,
Где, схваченное грубою рукою,
С восторгом ждет смертельного конца.
Я ежечасно кличу беглеца,
Но вольный сокол, новой горд судьбою,
Не хочет знать, безумец, над собою
Ни власть мою, ни зова бубенца.
Прекрасный хищник, ты мне душу точишь
Пометинами клюва и когтей,
Ожогом взглядов, звяканьем цепей!
Но если впрямь вернуться ты не хочешь,
Пылаешь, страждешь, ширишь взмахи крыл, —
Пошли судьба им обновление сил!

Здесь душа, страждущая не от подлинного недовольства, но от боли некоего любовного мучения, говорит, как бы направляя свои речи к тем, кто, подобно ей, охвачены страстью, как если бы несчастливица выпустила свое сердце, устремившееся туда, куда оно не может добраться, потянувшееся к тому, с чем не может соединиться, и желающее взять то, чего не может схватить; и все это потому, что

тщетно отдаляется от бесконечности и, все больше и больше разгораясь, идет к ней.

Чикада. Откуда следует, Тансилло, что дух, при таком движении вперед, испытывает удовлетворение от своего страдания? Откуда проистекает побуждение, которое вечно толкает его дальше того, чем он уже обладает?

Тансилло. Я сейчас скажу тебе — откуда. Когда интеллект доходит до восприятия некоторой и определенной умопостигаемой формы и воля охвачена страстью, соответственной такому восприятию, то интеллект не останавливается на этом; потому что собственным своим светом он побуждаем к обдумыванию того, что содержит в себе все зародыши умопостигаемого и желаемого; и это длится до тех пор, пока интеллект не придет к познанию значительности источника идей, океана всякой истины и блага. Отсюда следует, что какой бы вид перед интеллектом ни стоял и ни был бы им воспринят, он на основании того, что стояло перед ним и было им воспринято, делает вывод, что над воспринятым стоит еще иное, еще большее и большее, находящееся при этом все время, известным образом, в действии и в движении. Потому что он всегда видит, что все, чем он овладел, есть нечто измеримое и, следовательно, не достаточное само по себе, не благое само в себе, не прекрасное само собою, так как оно не есть вселенная, не есть абсолютная сущность, но лишь сопричастное этой природе, сопричастное этому виду, этой форме, явственной интеллекту и наличествующей в душе. Поэтому всегда от прекрасного понятого, и, следовательно, измеримого, и, следовательно, прекрасного по соучастию интеллект движется вперед к тому, что подлинно прекрасно, что не имеет никаких пределов и ограничений.

Чикада. Этот вывод кажется мне необоснованным.

Тансилло. Отнюдь нет, если принять во внимание, что было бы неестественно и несвойственно бесконечному быть понятым, и оно не может стать конечным, потому что в таком случае оно не было бы бесконечным; но свойственно и естественно, чтобы бесконечное, будучи бесконечным, было бесконечно преследуемо той формой преследования, которая не имеет значения физического движения, но некоего движения метафизического, в котором не восходят от несовершенного к совершенному, но идут, кружась, по ступеням

совершенства, для достижения того бесконечного центра, который не получил формы и сам не есть форма.

Чикада. Вы хотите знать, как, идя по окружности, можно достигнуть центра?

Тансилло. Этого я не могу знать.

Чикада. Почему же вы об этом говорите?

Тансилло. Потому что могу об этом говорить и дать вам это созерцать.

Чикада. Если вы не хотите сказать, что тот, кто преследует бесконечность, подобен тому, кто, пробегая по окружности, хочет достигнуть центра, то не знаю, что именно хотите вы сказать!

Тансилло. Я говорю другое.

Чикада. Ну, если вы не хотите пояснить это, то и я не желаю вас слушать. Однако скажите мне, пожалуйста, что имеет в виду стих, где говорится, что сердце попало в грубые, немилосердные руки?

Тансилло. Он имеет в виду уподобление, или метафору, извлеченную из того, что обычно называют суровым, что не позволяет себя использовать частично или полностью и что существует больше в желании, чем в обладании; поэтому нерадостно пребывание в том, чем владеет другой, потому что, страстно желая его, мучаешься и умираешь.

Чикада. Каковы же те мысли, которые зовут назад, чтобы отвлечь от столь благородного предприятия?

Тансилло. Чувственные и другие природные страсти, которые управляют телом.

Чикада. Что могут сделать с ним те, которые никак не могут ни усилить его, ни содействовать ему?

Тансилло. Они могут это сделать не в отношении его самого, но в отношении души, которая, будучи слишком занята каким-либо одним делом или изучением, становится слишком слабой и мало расположенной к другому.

Чикада. Почему сокол назван безумцем?

Тансилло. Потому что он слишком много знает.

Чикада. Обычно называют безумцами тех, кто меньше знает.

Тансилло. Безумцами называют тех, кто не знает обычного или стремится вниз, чтобы иметь меньше понимания, или влечется ввысь, чтобы обрести больше разумения.

Чикада. Должен признать, что вы говорите верно. Но далее скажите мне: что такое уколы, ожоги и цепи?

Тансилло. Уколы — это то новое, что вызывает, и возбуждает страсть, которая уже ждет; ожоги — это лучи предстоящей красоты, зажигающей того, кто ее ждет; цепи — части и обстоятельства, удерживающие глаза внимания и соединяющие вместе объекты и силы.

Чикада. Что такое взгляды, удары и поведение?

Тансилло. Взгляды — это лучи, при помощи которых объект (на который они наведены) предстает нам; удары суть лучи, при помощи которых он нас вдохновляет и осведомляет; поведение — это обстоятельства, при помощи которых объект нам всегда нравится и приятен. Отсюда и получается, что сердце, сладко изнемогающее, нежно горящее и находящееся в непрерывном и настойчивом действии, боится, что его рана закроется, что его жар угаснет, а узы ослабнут.

Чикада. Теперь прочтите мне следующий сонет.

Тансилло.

[21]

Дерзання, глуби, взлеты дум моих!
Зачем спешите вы уйти из лона
Моей души? Зачем из-за заслона,
Как лучники, в глубины чресл родных
Вы целитесь? А на тропах крутых
Ждет хищник вас у своего притона...
Вернитесь! Приведите от лесной
Богини сердце, изгнанное мной!
Храня огонь родного очага,
Не позволяйте взорам
Прельщаться чуждым пламенем, которым
Вас манит злонамеренность врага, —
Спешите, други, сами
Прийти к душе с отрадными вестями!

Здесь он описывает естественную заботливость души о своем потомстве, как следствие той дружбы, которая связала ее с материей. Она посылает свои вооруженные мысли, которые, понукаемые и

побуждаемые упреками более низменной природы, посланы предъявить жалобу на сердце. Душа учит их, как надлежит вести себя, потому что, очарованные и увлеченные объектом, они не легко возвращаются и к тому же испытывают соблазн остаться пленниками и товарищами сердца. Итак, поэт говорит, что они должны вооружиться любовью, — той любовью, которая горит семейными огнями, то есть тем, что дружелюбно к потомству, в отношении которого у них есть обязательства и чье потомство, сан и охрана укрывают их. Вслед за тем душа дает им распоряжение, чтобы они перестали смотреть, закрыли глаза и чтобы созерцали лишь ту красоту или то благо, которое находится перед ними, дружественное и материнское. В заключение душа говорит, что если иным способом они не хотят дать вновь увидеть себя, то пусть хотя бы вернутся для того, чтобы принести душе опыт разумения и устойчивость сердцу.

Чикада. Раньше, чем перейдете к другому предмету, я хотел бы услышать от вас, что имеет в виду душа, когда говорит мыслям: Не позволяйте взорам прельщаться?

Тансилло. Скажу. Всякая любовь происходит от созерцания: умопостигаемая любовь — от созерцания умственным путем; чувственная — от созерцания чувственным путем. Но это созерцание имеет двойное значение: оно либо означает зрительную потенцию, то есть зрение, которое есть интеллект, или же ощущение; либо оно означает действие этой потенции, то есть то применение, какое делает глаз, или же интеллект, по отношению к материальному или интеллектуальному объекту. Так что, когда м-ысли согласны подавить созерцание, то имеется в виду не первое значение, а второе, потому что оно — отец последующего чувственного или интеллектуального желания.

Чикада. Это и есть именно то, что я хотел услышать от вас. Однако, если действие зрительной силы является причиной зла или блага, которое происходит от созерцания, то отчего же мы любим и желаем созерцать? И отчего в делах божественных у нас больше любви, чем понимания?

Тансилло. Мы желаем созерцать потому, что известным образом видим блага созерцания, так как нам уже известно, что акт созерцания открывает нам прекрасные вещи; вот мы и желаем этого акта, так как желаем прекрасных вещей.

Чикада. Мы желаем прекрасного и благого, но созерцание не есть ни прекрасное, ни благое, — напротив, оно скорее есть сравнение или свет, при помощи которого мы видим не только прекрасное и благое, но также злое и безобразное. Поэтому мне кажется, что созерцание может быть столь же прекрасным и благим, как зрение и зримое может быть белым или темным; итак, если зрение (являющееся действием) не есть ни прекрасное, ни доброе, то как может возникнуть желание?

Тансилло. Если оно желаемо не через себя, то, конечно, через другое, поскольку восприятие этого другого без него не совершается.

Чикада. А что скажете вы, если этого другого нет в восприятии ни у чувств, ни у интеллекта? Как, спрашиваю я, может возникать желаемое при отсутствии видимого, если о нем нет никакого понятия, если в отношении к нему ни интеллект, ни чувство не проявили никакого действия, если даже сомнительно, является ли оно умопостигаемым или чувственным, телесной или же бестелесной вещью, одно ли оно, или два, или больше, одного или другого рода?

Тансилло. Отвечу, что в чувстве и в интеллекте заложено желание или вообще влечение к чувственному. Поэтому интеллект хочет понять все истинное, поэтому воспринимается даже все то, что умопостигаемо, как прекрасное или благое: потенция чувственная хочет быть осведомленной обо всем чувственном, поэтому и познается затем, насколько чувственное хорошо и прекрасно. Далее: видеть вещи неизвестные и никогда невидимые мы желаем не менее, чем вещи известные и видимые. Это не значит, что желание не происходит из познания и что мы желаем некоторую вещь, которая не познана; но, говорю я, установлено положительно и твердо, что мы не желаем неизвестных вещей. Потому что, если они неизвестны в своем частном бытии, то неизвестны в бытии общем; так же как во всей зрительной потенции находится все видимое, в меру ее пригодности, так в умственной потенции — все умопостигаемое. Однако так как в пригодности уже заключается склонность к действию, то отсюда следует, что и та и другая потенция склонны к действию во всеобщем масштабе, как к вещи, естественно принимаемой за благоую. Ведь душа не обращалась к глухим или слепым, когда советовалась со своими мыслями о подавлении созерцания, которое, хотя не есть ближайшая причина желания, все же есть первая и главная причина.

Чикада. Что вы имеете в виду в последнем высказывании?

Тансилло. Я понимаю так, что та фигура не являет себя ни чувственно, ни умопостигаемо, которая движется сама собой; ведь когда некто смотрит на фигуру, предстающую глазам, он еще не приходит к любви; но с того мгновения, как сама душа зарождает в себе этот образ, не столько зримый, сколько мыслимый, не столько в раздельности, сколько в нераздельности, не столько в виде вещи, сколько в виде благого или прекрасного, тогда вдруг рождается любовь. А это и есть то зрение, от которого душа хотела бы отвлечь глаза своих мыслей. Здесь зрение получает обыкновение выдвигать вперед страсть любить больше то, что не видимо; потому что, как я сказал выше, зрение всегда видит (вследствие того общего понятия, которое оно имеет о прекрасном и благом), что, кроме ступеней уже воспринятого вида благого и красивого, существуют еще следующие и следующие ступени в бесконечности.

Чикада. Откуда вытекает, что после того, как мы узнали о виде красивого, родившегося в душе, нам хочется также насыщать внешнее чувство зрения?

Тансилло. Из того, что душа хотела бы всегда любить то, что любит, и всегда видеть то, что видит, поэтому она хочет, чтобы тот вид, который в ней порожден рассмотрением, не умалялся, не ослабевал и не терялся. Таким образом, душа хочет видеть все дальше и дальше, так как то, что могло бы потемнеть во внутренней страсти, часто могло бы быть освещено во внешнем облике, который, как начало бытия, необходимо должен быть началом сохранности. Соответственно то же самое имеет место в акте постижения и созерцания; потому что как зрение относится к видимым вещам, так интеллект к вещам умопостигаемым. Таким образом, думается мне, вы понимаете, для чего и как душа понимает слова: не позволяйте взорам прельщаться.

Чикада. Очень хорошо понимаю. Но продолжайте излагать то, что вытекает из этих мыслей.

Тансилло. Вытекает ссора матери с названными ее сыновьями, которые, имея вопреки ее приказаниям глаза открытыми и устремленными на блеск объекта, остались в обществе сердца. Вот что она говорит:

И вы, мои жестокие сыны,
 Меня на муку бросили из мести, —
 Вам любо продолжение войны,
 Вы все шипы оставили на месте.
 О небо, на уродство и бесчестье
 Зачем все связи чувств обречены,
 Как не затем, чтоб мной явить примеры
 Слез без конца и горестей без меры?
 Сыны мои, молю вас, бога ради, —
 Оставьте мне крылатый пламень мой,
 И пусть хотя б один из вас живой
 Из лап судьбы придет к родной ограде!
 Но нет, — никто мне сна не возвратит
 И жгучих ран моих не остудит!

Вот я, несчастная, потерявшая сердце, покинутая мыслями, лишенная надежды, которая вся была сосредоточена в них. Мне не остается ничего, кроме чувства моей бедности, злосчастья и горести. И почему мне ничею не остается, кроме этого? Почему смерть мне не поможет теперь, когда я лишена жизни? Зачем мне природные потенции, лишённые действий? Как смогу я питаться только умопостигаемыми видами, как интеллектуальным) хлебом, если сущность этого заменителя сложна? Как могу я пребывать в домашней среде этих дружественных и дорогих членов, обросших меня кругом, уравнивая их симметрией элементарных качеств, если меня покидают все мои мысли и страсти, полные забот о нематериальном и божественном хлебе. Выше, выше, мои быстротечные мысли, мое мятежное сердце; да здравствует чувствование вещей чувствуемых и постижения вещей постигаемых! Помогай телу материей и телесным его существом, а интеллекту его объектами, чтобы оплатить устойчивость этой совокупности, чтоб не разложилась эта машина, где при помощи духа душа соединена с телом. Как мне, бедной, видеть, что скорее внутренним путем, чем внешним принуждением происходит это ужасное раздвоение моих частей и членов? Почему интеллект вмещивается, чтобы диктовать закон чувству и лишать его собственной его пищи? Чувство же, наоборот, почему сопротивляется

этому, желая жить по своим собственным, а не по чужим уставам? А так как именно они, а не другие, могут поддерживать и давать ему благоденствие, то и надлежит обращать внимание на удобства и жизнь его самого, а не других. Нет гармонии и согласования там, где есть единственное, где какое-нибудь одно бытие хочет поглотить все бытие; но они имеются там, где есть порядок и равное положение различных вещей, где каждая вещь служит соответственно своей природе.

Итак, пусть питается чувство по закону вещей чувственных: плоть пусть служит закону плоти, дух — закону духа, разум — закону разума, пусть они ни смешиваются, ни препятствуют друг другу. Достаточно, чтобы одно не портило или не вредило закону другого, раз несправедливо, чтобы чувство угрожало закону разума. Ведь позорно, когда одно тиранствует над другим, особенно там, где интеллект оказывается чужим и посторонним, а чувство — как бы у себя дома, в своем отечестве.

Итак, о мои мысли, одни из вас должны остаться для забот о своем доме, другие же могут идти на охоту в иные края. Таков закон природы, таков, следовательно, закон творца и принцип природы. Итак, грешите, но пусть все, соблазняемые прелестью интеллекта, обрекут на опасность смерти другую часть меня. Откуда взялось у вас это унылое и извращенное состояние духа, побуждающее к разрыву с определенными и естественными законами истинной жизни, находящейся у вас в руках, ради жизни неопределенной и существующей лишь в тени, за пределами фантастической мысли? Неужели вам представляется естественным, если жизнь течет не по животному и не по-человечески, но по-божественному, когда живущие — не боги, но люди и животные.

Закон судьбы и природы состоит в том, что все приспособляются к условиям своего бытия. Так почему же, гоняясь за скудным нектаром богов, вы теряете свое собственное и наличествующее, испытывая, быть может, огорчение от тщетной надежды на чужое? Не считаете ли вы, что нельзя негодовать на природу, не дающую вам чужого блага, если тем, что дается вам сейчас, вы столь глупо пренебрегаете?

Не даст тому второго блага небо,
Кто первый дар не может удержать.

С этими и тому подобными размышлениями душа, предпринимая защиту слабейшей части человека, старается собрать мысли для заботы о теле. Но эти мысли, хоть и запаздывая, являют ей себя уже не в той форме, в какой вышли, но чтобы заявить ей о своем восстании и принудить ее полностью следовать за ними. Вот отчего страждущая душа печалится так:

[23]

Псов Актеона яростная стая
Когда свою богиню я искал,
Я глас надежды слышал в звуках лая,
Пока ваш бег ручья не достигал.
Как вы теперь впились в меня! Какая
В вас ярь и страсть, чтоб жизнь я потерял?
Позволь, о жизнь, мне к солнцу устремиться,
Пусть не на мне возмездие свершится!
Скажи, судьба, когда мой тяжкий груз
Даст естеству разъять меня на части?
Когда уйду я из-под низкой власти,
И в вышину с восторгом вознесусь,
И сердцу моему под небесами
Найду приют с родимыми птенцами?

Платоники утверждают, что душа, в ее возвышенной части, всегда состоит из интеллекта, в коем разум преобладает над душой, если принять во внимание, что она называется душой, поскольку оживляет тело и поддерживает его. Таким образом, та же самая сущность, которая питает и поддерживает мысли вверху, здесь, вместе с восхваляемым сердцем, подстрекаема низшей частью к тому, чтобы печалиться и называть эти мысли мятежниками.

Чикада. Значит, это не две противоположные сущности, но единый субъект с двумя противоположными границами?

Тансилло. Именно так! Как луч, исходящий от солнца, затем, достигая земли и соединяясь с низшими и темными вещами, освещает, оживляет и зажигает их, а потом соединяется с элементом огня, то есть со звездой, от которой происходит, где берет свое начало и растворяется и где ведет собственное и первородное существование, — так и душа, которая находится на границе природы

телесной и бестелесной, имеет с кем подняться к вещам более высоким и склониться к вещам более низким. И, как можно видеть, это происходит не в смысле и не в порядке местного движения, но лишь под воздействием той или иной потенции или способности. Когда, например, чувство поднимается к воображению, воображение к разуму, разум к интеллекту, интеллект к мысли, тогда вся душа обращается к богу и живет в умопостигаемом мире. Оттуда она спускается обратно путем возвращения в мир чувственный через интеллект, разум, воображение, чувство, произрастание.

Чикада. Насколько я правильно понял, — душа, чтобы оказаться на последней ступени божественных вещей, спускается, как это и должно быть, в смертное тело, а от него снова поднимается к божественным ступеням; точно так же существует три ступени способности мышления: есть такие, у которых интеллектуальное превышает животное, — о них говорят, что разум у них небесный; существуют другие, в которых животное превышает интеллектуальное, у этих разум человеческий; существуют и третьи, у которых то и другое находится в равной доле, как у демонов или у героев.

Тансилло. Для понимания того, что вершит мысль, надо стремиться только к тому, что с ней по соседству, близко ей, известно и привычно. Так, свинья не может хотеть быть человеком, ни того, что соответствует человеческим влечениям. Она любит больше покрываться грязью, чем одеялом из тончайшего полотна, и соединяться со свиньей, а не с самой прекрасной женщиной, созданной природой; так происходит потому, что страсть следует за идеей вида. Точно так же, среди людей можно видеть, что у одних больше сходства с таким-то видом грубых животных, у других — с другим видом; одни имеют нечто от четвероногих, другие — от крылатых, а иные, может быть, обладают кой-какими близкими им свойствами (не буду говорить, какими), в результате чего в их среде находятся те, которые подвержены кое-каким видам животности.

Но мышлению (на которое давят материальные слагаемые души) позволено подняться до созерцания иного состояния, какого может достичь душа, так что оно получает подлинную возможность отличить первое от второго и ради будущего презирать настоящее. Это подобно тому, как если бы некое животное обладало способностью отличать свои условия от человеческих и неблагородство своего состояния от

благородного состояния человеческого, причем не считало бы для себя невозможным достигнуть того же; тогда оно предпочло бы скорее смерть, которая открыла бы ему путь к выходу, чем жизнь, которая удерживала бы его в настоящем состоянии.

Таким образом, когда душа жалуется, говоря в стихах: «Псы Актеона...», она как бы имеет в виду только низшие силы, против которых восстала мысль, ведя с собой сердце, то есть внутренние страсти, со всем воинством мыслей; отсюда, через познание данного своего состояния и незнание никакого иного состояния, признающего ее существование не в большей степени, чем само оно может быть ею познано, душа жалуется на мысли, которые в дальнейшем, обратясь к ней, приходят скорее для того, чтобы вознести ее ввысь, чем заставить ее дать приют им.

И вот тут, в силу отчужденности, вызываемой страданием от обыденной любви между материей и вещами умопостигаемыми, душа чувствует себя раздираемой и терзаемой до такой степени, что должна, наконец, уступить более смелому и сильному импульсу. Тогда-то силою созерцания душа сама поднимается или видит себя вознесенной над горизонтом природных страстей; оттуда она более чистым взглядом воспринимает разницу между одной и другой жизнью, и вот, побежденная высокими мыслями и как бы мертвая телом устремляется ввысь; и хоть она в действительности продолжает быть живой в теле, она прозябает там, словно мертвая, и, присутствуя в нем в смысле одушевленности, она отсутствует в смысле действенности; не потому что она не проявляет действий, поскольку тело живо, но потому что действия в таком соединении заторможены, вялы и как бы раздроблены.

Чикада. Так некий теолог, сказавший о себе, что он был восхищен до третьего неба и, охваченный его зрелищем, говорит, что желал распада своего тела.

Тансилло. Вот почему в сонете, где автор сперва жаловался на сердце и спорил с мыслями, он затем высказывает желанье подняться с ними ввысь и выражает сожаление по поводу общения и близости с телесной материей. Он говорит: Оставь меня, телесная жизнь, позволь мне устремиться к моему солнцу, к моему более родному приюту, оставь меня, чтобы мне позже не лить слез из глаз моих, оттого ли, что плохо могу помочь им, или оттого, что остаюсь разлученным со своим

благом; оставь меня, ибо нехорошо и невозможно, чтобы оба эти ручья текли без своего источника, то есть без сердца; не нужно, говорю я, мне источать здесь внизу два потока слез, если сердце мое, являющееся источником таких рек, поднялось ввысь со своими нимфами, то есть с моими мыслями. Так мало-помалу от этой нелюбви и сожаления автор переходит к ненависти к низшим вещам; это он как бы показывает, говоря: Когда мой тяжкий груз даст естеству разъять меня на части.

Чикада. Я понимаю очень хорошо это, равно как и то, что этим вы хотите подвести к цели главной мысли, а именно, к тому, что существуют ступени любви, привязанностей и страстей соответственно ступеням большего или меньшего света познания и понимания.

Тансилло. Ты понял правильно. Отсюда ты должен усвоить учение, заимствованное у пифагорейцев и платоников, которое обычно учит, что душа совершает два движения — подъем и спуск — в заботе о себе и о материи, потому что эти движения совершаются как по собственному желанию блага, так и благодаря толчку провидения судьбы.

Чикада. Скажите мне, пожалуйста, кратко, что вы понимаете под душой мира, и еще — может ли она подниматься и опускаться?

Тансилло. Если ты спрашиваешь о мире в вульгарном смысле, то есть поскольку он означает вселенную, то я скажу, что, будучи бесконечным и неизмеримым или безмерным, он должен быть неподвижным, неодушевленным и бесформенным, хотя в нем помещается бесконечное число подвижных миров и хотя он имеет бесконечное пространство, где находится много великих животных, называемых звездами. Если же ты спрашиваешь в смысле понимания, близкого истинным философам, то есть поскольку это относится к каждому шару, каждой звезде, — как эта наша земля, тело солнца, луны и прочих, — то я скажу, что душа таковых миров не поднимается, не опускается, но вращается по кругу. Таким образом, будучи составленной из сил высших и низших, она с высшими вращается вокруг божества, с низшими — вокруг массы, которая ею оживляется и поддерживается между тропиками зарождений и разрушений вещей, живущих в тех мирах, вечно обслуживая собственную жизнь; потому что действие божественного провидения

всегда сохраняет ее в обычном и в том же бытии в той же мере и порядке, с божественной теплотой и светом.

Чикада. Мне достаточно того, что я услышал по этому вопросу.

Тансилло. Значит, таким же образом, как происходит то, что эти отдельные души, по-разному, соответственно разным ступеням подъема и спуска, выявляют себя в смысле привычек и склонностей, точно так же выказывают они различные способы и разряды страстей, любви и чувств, — и не только по лестнице природы, следуя порядкам различных жизней, которые принимает душа в разных телах, как это прямо выражают пифагорейцы, саддукеи и прочие и прикрито выражают Платон и другие, глубже вникающие в это, — но и по лестнице человеческих страстей, которая столь же богата ступенями, как и лестница природы, принимая во внимание, что человек во всех своих способностях обнаруживает все виды своего существа.

Чикада. Таким образом, по склонностям можно познать души, когда они идут высоко или низко или возвращаются сверху или снизу, когда становятся животными или же божествами, следуя специфическому бытию, как это понимают платоники, или следуя только подобию страстей, как это считается вообще: ведь душа человеческая не должна быть душой зверя, как хорошо сказал Плотин и другие платоники, в согласии с мнением своего главы.

Тансилло. Хор ошо. Однако вернемся к нашей теме; эта описанная выше душа поднимается от страсти животной к страсти героической, о чем сказано:

Когда уйду я из-под низкой власти,
И в вышину с восторгом вознесусь,
И сердцу моему под небесами
Найду приют с родимыми птенцами?

Эта же самая мысль продолжена в следующих словах:

Когда, судьба, я вознесусь туда,
 Где мне блаженство дверь свою откроет,
 Где красота свои чертоги строит,
 Где от скорбей избавлюсь навсегда?
 Как дряблым членам избежать стыда?
 Кто в изможденном теле жизнь утроит?
 В боренье с плотью дух всегда сильней,
 Когда слепцом не следует за ней!
 И если цели у него высоки,
 И к ним ведет его надежный шаг,
 И ищет он единое из благ,
 Которому дано целить пороки,—
 Тогда свое он счастье заслужил
 Затем, что ведал, для чего он жил.

Когда, о судьба, о божественное неизменное провидение, когда же вознесусь я на гору, то есть дойду до такой высоты мысли, которая, перенеся меня туда, позволила бы мне прикоснуться к высоким входам и тайникам, сделав для меня очевидными и как бы охваченными и сосчитанными тѣм ценности, то есть редкие красоты? Когда от скорбей меня избавит навсегда и по-настоящему успокоит мое горе (оторвав меня от крепчайших уз забот, в которых нахожусь) тот, кто скрепляет и объединяет мои дряблые члены? Здесь я имею в виду любовь, которая соединяет эти телесные части, ранее разъединенные, подобно тому, как одна полярность, отделенная от другой, и которая также эти интеллектуальные потенции, вяло проявляющие себя в действиях, не оставляет в самом деле мертвыми, заставляя их, пока они дышат, дышать в выси.

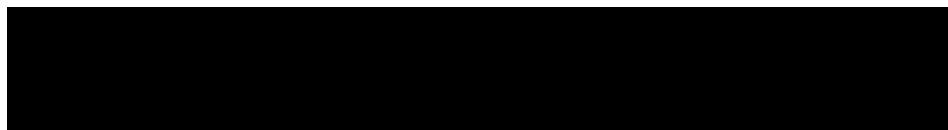
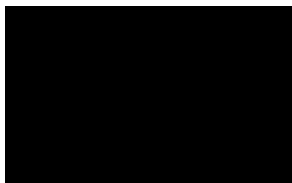
Когда, говорю я, утешусь вполне, давая им свободный и быстрый полет, благодаря которому все мое существо сможет гнездиться там, где, напрягая силу мою, я сумею исправить все мои пороки, там, где, подойдя к цели, дух мой сильнее, когда не следует за плотью, — потому что там нет ни препятствия, которое угрожало бы ему, ни сопротивления, которое побеждало бы его, ни заблуждения, которое атаковало бы его.

Ах, если он держит путь, и приходит туда, куда, напрягая силы, стремился, и, совершая восхождение, достигает той вершины, куда восходил, и хочет, чтобы стоял водруженным, значительным и возвышенным его объект, и если добивается того, что обретает благо, которое может быть обретено только одним, то есть только им самим (имея в виду, что всякий другой обладает им лишь в меру своей способности и только он один во всей полноте), тогда придет ко мне счастливое бытие в том смысле, в каком говорит тот, кто все предсказывает, то есть когда заговорит та высота, в которой всякое высказывание и всякое действие есть одно и то же, в том смысле, в каком говорит или действует тот, кто все предсказывает, то есть тот, кто для всех сущей есть начало и действующая сила, тот, для кого сказать и предуказать поистине значит сделать и начать.

Таким-то образом, по лестнице высших и низших вещей совершает свой ход чувство любви, так же как ум или чувство движутся от этих умопостигаемых и познаваемых объектов к тем или от тех к этим.

Чикада. Именно так, по утверждению большей части мыслителей, природа испытывает удовлетворение от того чередования в кружении, в котором проявляет себя вращение ее колеса.

Конец четвертого диалога



Диалог пятый

Собеседники:

Чикада

и

Тансилло

Чикада. Сделайте так, чтобы я сам мог увидеть и самолично разобраться в состояниях этого энтузиазма соответственно тому, какое получила истолкование эта борьба в том порядке, в каком изложено здесь.

Тансилло. Взгляните, как несут они эмблемы своих страстей или судеб. Не станем истолковывать их наименований и облачений; достаточно остановиться на значении эмблемы и девиза как того, что взято ради оформления материи образа, так и того, что уже не раз бралось для выявления замысла.

Чикада. Так и сделаем. Вот здесь первая эмблема, на которой изображен щит, раскрашенный в четыре разных цвета; в нашламнике нарисовано пламя под бронзовым котлом, из отверстий которого с большой силой вырывается струя пара, а вокруг написано: Но это испытали три царства.

Тансилло. В разъяснение этого я сказал бы, что находящийся здесь огонь, как видим, нагревает шар с водой внутри, а этот влажный элемент, разрезаясь и размягчаясь силою теплоты и, следовательно, превращаясь в пар, требует много большего пространства, чтобы быть удержанным. И вот там, где нет отверстий для выхода, пар стремится с величайшей силой и треском разорвать сосуд. Если же там есть место для выхода, через который пар может испаряться, то пар вырывается с меньшей силой и мало-помалу, и, по мере того как вода переходит в пар, он с пыхтением испаряется в воздух. Здесь обозначено сердце Энтузиаста, охваченное любовным огнем; из сердца, как через фитиль в хорошем отверстии, одна часть жизненной энергии сгорает в пламени, другая часть проявляет себя в форме слез, кипящих в груди, а часть — в виде вырывающихся бурных вздохов, которые воспламеняют воздух.

И, однако, сказано: Но это испытали три царства. Здесь это «Но» имеет целью подчеркнуть разницу, или разнообразие, или противоположность, как если бы говорилось, что есть и другое, которое могло бы иметь тот же смысл, но не имеет его. Это очень хорошо объяснено в следующих стихах под изображением эмблемы:

[25]

Сквозь два луча, ничтожный ком земли,
Немало слез привык струить я в море;
И из груди, где сердце давит горе,
Немало вздохов ветры унесли;
Пыланья сердца, ширясь на просторе,
На небесах огни свои зажгли; —
Так приношу средь вздохов и рыданий
Огню, воде и воздуху я дани.
Ко мне огонь, и воздух, и вода
Благоволят; лишь у моей богини
Ко мне нет милосердия доныне;
Она не обернется никогда
На мой призыв, мольбы моей не слышит
И на меня лишь равнодушьем дышит.

Здесь подчиненная материя, обозначенная землей, есть субстанция Энтузиаста; она льет из близнецов света, то есть из очей, обильные слезы, которые текут в море; из груди во вместительный воздух вырывается великое множество глубоких вздохов: и пламя его сердца не охлаждается, как малая искра или слабый огонь, не гаснет в дыму и не переходит в другое бытие, но мощно и сильно соединяется с родственной сферой, скорее обогащаясь от нее, чем утрачивая свое.

Чикада. Я все уразумел. Перейдем к следующему.

Тансилло. Далее мы видим изображение, в котором на щите, так же разделенном на четыре различно окрашенных части, по верхушке нарисовано солнце, распространяющее лучи по поверхности земли; и там есть надпись: Всегда то же и везде целостно.

Чикада. Вижу, что это не легко истолковать.

Тансилло. Смысл тем лучше, чем менее общедоступен. Как видите, солнце — одно, единственно и нерастянuto. Вы должны иметь в виду, что солнце, хотя оно и различно в разных областях земли для каждой в

разные времена, в разных местах, в разных частях, — все же для земного шара в целом, как таковое, всегда и в каждом месте целостно; ведь в каждом месте эклиптики, где бы оно ни находилось, оно создает зиму, лето, осень, весну, и весь земной шар принимает эти четыре времени года. Так что никогда не бывает жарко в одной части, без того чтобы не было холодно в другой, например, когда нам чрезвычайно жарко под тропиком Рака, то в высшей степени холодно под тропиком Козерога; отсюда следует, что зима стоит в той части на том же самом основании, на каком лето — в этой, а в тех частях, которые находятся посредине, — там — умеренно, соответственно положению весеннему или осеннему. Таким образом, земля всегда чувствует дожди, ветры, зной, холода. Более того, в одной части не было бы сыро, если бы не было сухо в другой части, и солнцз не согревало бы ее с этой стороны, если бы не прекращало греть ее с другой.

Чикада. Прежде чем вы выскажете заключение, я уже понял, что вы хотите сказать. Вы имеете в виду, что подобно тому как солнце всегда оказывает всяческие влияния на землю, а земля всегда принимает их все и полностью, так и великолепный объект устремлений Энтузиаста действительно делает его бездейственным субъектом слез, кои есть вода, пыланий, кои суть пожары, и вздохов, кои суть некие пары, являющиеся посредниками, идущими от огня к воде или идущими от воды к огню.

Тансилло. Это довольно хорошо изъяснено в следующих стихах:

Сойдет ли Солнце к знаку Козерога —
 Дожди вздувают все ручьи полней;
 К экватору ль ведет его дорога, —
 Послы Эола носятся слышней;
 А возле Рака Солнце понемногу
 Дневное время делает длинней.
 Мои ж томленья, вздохи и невзгоды
 Не знают смен ни от какой погоды.
 Я в равной мере слезы лью
 От преизбытка страсти и печали,
 И, как они меня б ни волновали,
 Им не дано унять тоску мою.
 Моим влечениям нет граней,
 И, вровень с ними, нет их для страданий.

Чикада. Это не столько выясняет смысл девиза, как предшествующая речь, сколько говорит скорее о выводах из него или же сопровождает его.

Тансилло. Скажите лучше, что образ скрыт в первой части, а чрезмерно объяснено во второй, тогда как то и другое в сущности достаточно обозначено в виде солнца и земли.

Чикада. Перейдемте к третьему.

Тансилло. В третьей эмблеме на щите имеется изображение нагого мальчика, лежащего на зеленом лугу, опершись приподнятой головой на руку, обратив глаза к небу, на несколько жилых зданий, на башни, сады и огороды над облаками; и там же, в облаках, замок, чья материя есть огонь. Посредине надпись, гласящая: Взаимно друг друга поддерживаем.

Чикада. О чем это говорит?

Тансилло. Этого Энтузиаста надо понять через изображение нагого мальчика, простого, чистого и подверженного всем несчастным случайностям природы и фортуны, ког^а он силою своей мысли создает воздушные замки, в том числе башню, архитектором которой является Амур, материалом — огонь любви, а строителем — он сам, говорящий: Мы друг друга поддерживаем. Это значит: я вас строю и поддерживаю там мыслью, а вы меня поддерживаете здесь надеждою;

вы не возникли бы в бытии, если бы не были воображением и мыслью, которыми я здесь создаю и поддерживаю вас; а я не был бы в живых, если бы не имел освежения и утешения, которые получаю при вашей помощи.

Чикада. Верно, что нет такой пустой и химерической фантазии, которая не могла бы быть более реальным и истинным лекарством для сердца Энтузиаста, чем любой злак, порошок, масло или другое вещество, произведенное природой.

Тансилло. Маги при помощи веры могут сделать больше, чем врачи при посредстве истины, а при более тяжелых болезнях больным помогает больше вера в то, о чем говорят маги, чем понимание того, что делают врачи. Именно об этом и написано в стихах:

[27]

На вышине, над облачной грядою,
Как часто я парю своей мечтой,
Одумавшись, полет снижаю свой
И, вспыхнув вновь, воздушный замок строю.
О, если б снисходительной судьбою
Был огражден высокий пламень мой
От холода, вражды и безучастья, —
Мучение я принял бы как счастье.
Увы, судьба не чувствует, не знает
Твоих приманок, Отрок, и оков,
Губительных для смертных и богов,
Которых плен и рабство ожидает.
Но чтобы ты познала боль мою,
Тебе, Любовь, ключ замка отдаю.

Чикада. Энтузиаст показывает, что то, что питает в нем фантазии и согревает в нем дух, таково (даже если он так же лишен смелости признать свое страдание, как прочно подвержен подобному мучению), что, если бы строгий и непокорный рок немного смягчился и судьба пожелала бы освежить ему лицо, а высокий объект без пренебрежения или гнева воочию предстал перед ним, он не считал бы радость свою настолько счастливой, а свою жизнь настолько блаженной, в какой мере счел бы свое страдание счастьем, а свою смерть блаженством.

Тансилло. И при этом он объявляет Амуру, что основанием, которое дает Амуру доступ в эту грудь, не является обыкновенное его оружие — стрела, при помощи которой тот привык брать в плен людей и богов, но только отверстое для него пылающее сердце и потрясенный дух вызывают сострадание, открывают ему этот доступ и вводят его в эту трудно доступную залу.

Чикада. Что означает здесь эта мошка, которая летает вокруг огня и чуть-чуть не загорается? И что значит изречение: Враг и все же не враг?

Тансилло. Не очень трудно понять значение мошки, соблазненной прелестью сияния, невинной и дружелюбной, которая летит навстречу смертоносному пламени. Потому-то и сказано о действии огня: враг, а из-за страсти мошки — не враг; враг — мошка — пассивно, не враг — активно; враг — пламя, из-за жара; не враг — из-за сияния.

Чикада. А что написано на следующем листе?

Тансилло.

[28]

На гнет любви я сетовать не стану,
Я без нее отрады не хочу,
Пусть бередит она мне в сердце рану, —
О вожделенном я не умолчу.
Идет ли мгла, иль время быть лучу, —
Тебя, мой Феникс, ждать я не устану;
Кому ж дано распутать узел тот,
Которого и смерть не разорвет?
Для разума, для сердца, для души
Нет наслажденья, жизни и свободы,
Что были б так желанно хороши,
Как те дары судьбы, страстей, природы,
Которые столь щедро за мой труд
Мне муку, тяготу и смерть несут!

Здесь в рисунке показано сходство Энтузиаста с мошкой, стремящейся к своему светочу; дальше в стихах указывается на различие и несходство, большее чем было в том случае; обыкновенно считается, что если бы мошка предвидела свою гибель, она не только не летела бы на огонь, но улетела бы от него, считая злом потерю

собственного бытия от разложения в этом враждебном огне. Но ей не меньше нравится исчезнуть в пламени любовного жара, чем лишиться созерцания красоты этого редкого сияния, при котором, по природной склонности, по выбору воли и расположению тягостной судьбы, она действует и умирает радостнее, решительнее и смелее, чем от какого-либо другого удовольствия, предлагаемого сердцу, — от свободы, предоставляемой духу, и от жизни, предназначенной душе.

Чикада. Скажите, почему сказано: Всегда я буду один и тот же?

Тансилло. Потому что ему кажется достойным подчеркнуть свое постоянство. Ведь мудрый не меняется каждый месяц, тогда как глупый меняется, как луна. Поэтому Энтузиаст — один и тот же со своим единственным Фениксом.

Чикада. Хорошо, а что означает эта пальмовая ветвь с изречением вокруг: Цезарь здесь.

Тансилло. Без долгих рассуждений, все это можно узнать из написанного на странице:

[29]

Победоносный вождь Фарсальского сраженья!
Когда усталый строй твоих солдат встречал
В бою твой грозный лик, он силу в них вливал, —
И гордого врага постигло поражение.
Так и мои к добру высокие стремленья,
Когда я им в борьбе мечту свою являл,
Избыв смятение, опять бросались к цели
И яростней любви порывами кипели.
Воспоминание о том
Даст душе столь мощно обновиться.
Что властная ее державная десница
Все непокорное сгибает под ярем;
Но мной она так мирно правит,
Что ни моих цепей, ни блеска не бесславит.

Иной раз низшие силы души, как смелое и враждебное войско, находящееся в собственной стране, опытное, испытанное и приспособившееся, восстает против пришлого противника, который спустился с высот интеллекта, чтобы обуздать население долин и болотных равнин. Отсюда, вследствие тяготы от присутствия врагов и

из-за трудностей от обрывистых рвов, он должен был бы уйти с потерями или действительно погибнуть, если бы не было некоего обращения к блеску умопостигаемых видов, при посредстве акта созерцания, когда от низших ступеней обращаешься к ступеням высшим.

Чикада. Что это за ступени?

Тансилло. Ступени созерцания подобны ступеням света, которого вовсе нет во тьме; до некоторой степени наличествует он в тени; в большей мере имеется он среди красочностей, сообразно своему порядковому месту между одной крайностью — черным, и другой — белым; еще ощутительнее он — в рассеянном сиянии тел чистых и прозрачных, например, зеркала или луны; более живо — в рассеянных лучах солнца; а в высочайшей мере и главным образом — в самом солнце. И вот, поскольку подобным же образом упорядочены познавательные и чувственные силы, из которых ближайшая последующая всегда обладает сродством с ближайшей предыдущей и путем обращения к той, которую она поддерживает, идет, усиливаясь, против более низкой, которую подавляет (так разум, путем обращения к интеллекту, не соблазнен или не побежден известием или восприятием и чувственным аффектом, но скорее сообразно законам интеллекта стремится победить и исправить аффект), постольку происходит то, что когда желание разума противостоит чувственной похоти, то, если аффекту при посредстве акта обращения перед глазами предстанет свет ума, он опять готов воспринять исчезнувшую добродетель, укрепляет свои нервы и устрашает и поражает врагов.

Чикада. Как, по-вашему, совершается это обращение?

Тансилло. Три подготовительными мерами, которые отмечает созерцательный Плотин в книге «Об умопостигаемой красоте». Первая — предложить себе сообразоваться с божественным подобием, отвращая взгляд от вещей, которые не выходят за пределы собственного совершенства и обладают общностью с видами рядовыми и низшими. Вторая — применяться со всем усердием и вниманием к видам высшим. Третья — направлять всю волю и страсть к богу. Ведь из этого несомненно выйдет, что на Энтузиаста повлияет божество, которое находится везде и готово войти в того, кто обращается к нему умственно и открывает себя для этого чувства воли.

Чикада. Значит, это не телесная красота, которая овладевает им?

Тансилло. Конечно, нет, так как в ней нет ни истинной, ни постоянной красоты; поэтому она и не может породить ни истинной, ни постоянной любви. Красота, которая видна в телах, есть вещь случайная и тeneвая, как и прочие поглощаемые, подверженные порче и повреждению в силу изменения субъекта, который часто из красивого делается грубым, без того чтобы в душе произошла какая-нибудь порча. Разум, таким образом, воспринимает истинную красоту путем обращения к тому, что создает красоту тела и стремится сделать его красивым; ведь это душа сделала и образовала его таким. Затем интеллект поднимается еще выше и хорошо познает, что душа несравненно более красива, чем красота, которая может находиться в телах; однако он не убеждается, что она прекрасна сама по себе и с самого начала, так как в таком случае не было бы различия, наблюдаемого в родах душ, когда одни — мудры, любезны и прекрасны, другие — глупы, ненавистны и грубы. Значит, нужно подняться к тому высшему интеллекту, который сам по себе прекрасен и сам по себе благ. Это и есть тот единственный и верховный начальник, который один, стоя перед очами воинственных мыслей, их просвещает, ободряет, усиливает и делает победоносными, презирающими всякую иную красоту и отрицающими всякое другое благо. Таким образом, его присутствие позволяет преодолеть любую трудность и победить любое буйство.

Чикада. Все понял. Но что значит: Она так мирно правит, что ни моих цепей, ни блеска не бесславит.

Тансилло. Здесь автор понимает и доказывает, что всякая любовь чем большею властью и более прочным господством она обладает, тем больше заставляет чувствовать стеснение уз, прочность ига и жар пламени. В этом ее отличие от обыкновенных князей и тиранов, которые применяют тем больше стеснений и насилия, чем меньше имеют власти.

Чикада. Перейдемте к следующему.

Тансилло. Здесь я вижу воображаемое изображение летящего Феникса, к которому повернулся мальчик, охваченный пламенем. Тут же — изречение: Противостоят судьбе. Но чтобы это лучше понять, надо прочитать табличку:

О Феникс, птица солнца, царь сияний,
 Чей возраст равен миру, чей зенит
 Над радостной Аравией стоит;
 Ты — тот, что был, а я — не тот, что ране.
 В огне любви я гибну от страданий,
 Тебе же солнце вечно жизнь дарит;
 Ты лишь в одном, я в каждом месте гасну;
 Зажжен ты Фебом, я ж Амуром властным;
 Для долгой жизни дан предел
 Тебе обширный, — мой же краток срок,
 И что ни шаг, то гибели примета;
 Чем был, чем будет дальше мой удел,—
 Не знаю я; мой вождь — незрячий рок,
 А ты, ты вновь придешь к истоку света.

Из смысла стихов видно, что в изображении нарисована антитеза Феникса и Энтузиаста, что изречение «Противостоят судьбе» не означает, что судьбы — против мальчика или Феникса, или против того и другого вместе; что они не тождественны, а различны, и что фатальные законы их судеб противоположны. Потому что Феникс таков же, каким был, и та же материя его обновляется огнем, чтобы стать телом Феникса, и тот же дух и душа формируют его. Энтузиаст же теперь таков, каким раньше не был, потому что его субъект — человек — прежде был каким-то иным видом, соответственно бесчисленной их разновидностью. Отсюда следует, что если известно, каким был Феникс, то известно и то, чем он будет; этот же субъект [Энтузиаст] только при помощи многих и неопределенных средств может вернуться к воплощению в ту же самую или подобную ей натуральную форму. Далее Феникс, созерцая солнце, меняет смерть на жизнь; Энтузиаст же, созерцая любовь, меняет жизнь на смерть. Кроме того, Феникс: возжигает огонь на благоуханном алтаре, а Энтузиаст обретает его и несет с собой туда, куда идет. И еще: у Феникса есть определенные границы долгой жизни, а у Энтузиаста через бесконечные различия времени и бесчисленные условия обстоятельств имеются неопределенные пределы короткой жизни. Феникс

возгорается уверенно, Энтузиаст — сомневаясь в том, увидит ли снова солнце.

Чикада. Что же, по-вашему мнению, может означать это изображение?

Тансилло. Разницу между низшим интеллектом, который называется интеллектом потенциальности, возможности или способности к ощущению и является неопределенным, многообразным и многообразным, и между интеллектом высшим, может быть тем, который перипатетиками именуется низшей интеллектуальностью и который непосредственно влияет на всех индивидуумов человеческого вида и называется интеллектом действующим и осуществляющим. Этот единственный интеллект, специфически человеческий, имеющий влияние на всех индивидуумов, как луна, которая берет всего лишь единственный вид света, всегда возобновляющийся обращением к солнцу, первым и универсальным пониманием; но индивидуальный и множественный человеческий интеллект обращается, как глаза, к неисчислимым и самым различным предметам, поэтому он формируется, следуя разным ступеням, соответствующим всем природным формам. Отсюда следует, что этот частный интеллект должен быть восторженным, бродячим и неопределенным, а тот всеобщий — спокойным, устойчивым и определенным столько же в желании, как и в восприятии. Или, следовательно (как ты и сам можешь легко расшифровать), обозначается природа восприятия и влечения, как меняющегося непостоянного и неопределенного чувства, и природа понимания и влечения — как окончательного, твердого и устойчивого постижения; обозначается отличие любви чувственной, которая не имеет ни уверенности, ни разборчивости в объектах, от любви умственной, имеющей целью определенное и единое, к которому она обращается, которым освещает свое понимание и к которой подходит со страстью, которой воспламеняется, освещается и поддерживается в единстве, в тождестве и в состоянии.

Чикада. А что должно означать это изображение солнца с одним кругом внутри и другим снаружи и с изречением: Вращаясь, движется по окружности?

Тансилло. Значение этого наверняка никогда не было бы понято, если бы я не узнал его от самого художника. А именно: это изречение

относится к движению солнца, которое идет по этому кругу, нарисованному внутри и вне солнца, а это означает, что движение это одновременно совершается и совершаемо. Отсюда следует, что солнце идет, чтобы все время находиться во всех точках круга, потому что если оно движется в одно мгновение, то, следовательно, оно разом движется и движимо и что оно равно находится во всей окружности и в нем сходятся воедино движение и покой.

Чикада. Это я понял из диалога «О бесконечности вселенной и несчисленных мирах», в котором излагается, что божественная мудрость в высшей степени подвижна (так сказал Соломон) и в то же время в высшей степени устойчива, как сказано и понимается всеми, кто обладает пониманием. Однако продолжайте, чтобы я мог разобраться в поставленном вопросе.

Тансилло. Я хочу сказать, что солнце Энтузиаста отнюдь не подобно тому, какое (как обычно полагают) движется вокруг земли, с суточным движением в двадцать четыре часа и с планетарным движением в двенадцать месяцев, в силу чего различают четыре времени года, в соответствии с чем в его пределах находятся четыре основных точки Зодиака. Солнце же Энтузиаста таково: в нем находится вся вечность и, следовательно, завершено владение всем, оно включает разом зиму, весну, лето, осень и разом день с ночью, поэтому оно находится все во всем и разом во всех точках и местах.

Чикада. Примените сказанное к рисунку.

Тансилло. Так как невозможно нарисовать все солнце во всех точках окружности, то здесь начертаны два круга: один, который охватывает солнце для обозначения, что оно движется по этому кругу, другой круг, заключенный в солнце, — чтобы показать, что оно движимо этим кругом.

Чикада. Но эта иллюстрация не очень ясна и не очень подходит.

Тансилло. Достаточно, чтобы она была настолько ясной и подходящей, насколько возможно. Если вы сможете ее сделать лучше, вам дается право изъять ее и вставить сюда другую; ведь эта вставлена только для того, чтобы душа не была без тела.

Чикада. Скажите, что значит Вращаясь, движется по окружности?

Тансилло. Это изречение в полном его значении изображает вещь, которая может быть обозначена как то, что вращается, так и то, что вращалось, то есть движение, еще длящееся и уже совершенное.

Чикада. Превосходно. И, однако, об этих окружностях, которые плохо обозначают условия движения и покоя, можно сказать, что им надлежит означать единое круговращение. И, таким образом, я доволен сюжетом и формой героической эмблемы. Вот об этом-то и написаны стихи.

Тансилло.

[31]

Ты, Солнце, умеряешь свет Вола,
Со Львом даешь тепло и созреванье,
А в жале Скорпиона шлешь пыланье,
Чтобы Земля все соки обрела;
Но Водолей, изгнав блага тепла,
Не: ет затем телам отсыреванье.
Мне ж весны, лета, осени и зимы
Равно томительны и нестерпимы.
Меня одно желанье жжет,
Все вновь и вновь я в вышину взлетаю,
Где свой предмет высокий созерцаю,
Который к звездам пламень мой влечет;
И нет во времени мгновенья,
Что утишить могло б мои томленья.

Заметь, что здесь четыре времени года обозначены не четырьмя знаками подвижных созвездий: Овна, Рака, Весов и Козерога, но четырьмя так называемыми неподвижными, то есть: Вола, Льва, Скорпиона и Водолея, чтобы обозначить совершенство, устойчивость и рвение этих сезонов. Далее заметь, что в восьмом! стихе, где применены апострофы, можно в окончания слов вставлять последние буквы трояким образом. Надо, кроме того, принять во внимание, что такие термины суть не четыре синонима, но четыре различных термина, которые означают столько же ступеней действий огня. Первый из них — теплится, второй — зажигается, третий — горит, четвертый — пылает в том, что затеплилось, зажглось и загорелось. И так же обозначены у Энтузиаста желание, внимание, прилежание, страдание, в которых ни на миг не чувствуется изменения.

Чикада. Почему вы подводите их под общее понятие страдания?

Тансило. Потому что объект, который есть божественный свет, в этой жизни существует больше в трудолюбивом пожелании, чем в спокойном пользовании, потому что наша мысль по отношению к нему — как глаза ночных птиц по отношению к солнцу.

Чикада. Переходите к дальнейшему, так как из сказанного можно понять все.

Тансилло. На следующем нашлемнике изображена полная луна с девизом: Я всегда подобна себе и светилу. Этим он хочет сказать, что он подобен всегда светилу, то есть солнцу и луне, как она показана здесь, полная и ясная в цельном круге; и чтобы ты смог лучше понять это, я хочу заставить тебя послушать то, что написано на табличке:

[32/

Нестойкая, ущербная луна
То полный диск, то узкий серп являет,
То хмурится, то светится, бледна.
То северным Рифеям луч бросает,
То к южной Ливии обращена,
Пологих гор уступы озаряет.
Не такова моя луна: она
Всегда ущербна, вечно неполна.
На горе мне моя звезда
Уносится, ко мне не возвращаясь,
Жжет издали, ко мне не приближаясь,
Всегда враждебна, но мила всегда,
И лик ее, которым я изранен,
Ко мне жесток, но мне всегда желанен.

Это, мне кажется, может означать, что его частный разум всегда подобен универсальному разуму, то есть вечно освещаем последним на всем полушарии, хотя в силу своих низших возможностей и под влиянием своих собственных действий, он то затемняется, то более или менее светлеет. А может быть, это должно означать, что его созерцательный интеллект (который всегда неизменно присутствует в действии) всегда обращен и более действенен по отношению к человеческому разуму, обозначаемому в виде луны, потому что, так же как она именуется низшей из всех звезд и самой близкой к нам, так и разум, просветитель всех нас (в этом состоянии), есть последний в

ряду других разумов как замечает Аверроэс и другие более тонкие перипатетики. Этот разум по отношению к потенциальному интеллекту то закатывается, поскольку не находится в каком-либо действии, то как бы поднимается, то есть восходит снизу, от темного полушария, то показывает себя пустым или же полным, соответственно чему и дает более или менее света разума; его шар то темный, то светлый, так как то показывается в виде тени, подобия и следа, то все более и более явственно; то склоняется к югу, то поднимается к северу, то есть все более удаляется от него, то все более приближается. Но интеллект в действии, в своем постоянном труде (потому что этого нет в человеческой природе и в условиях, в которых он пребывает таким страдающим, повергаемым, борющимся, призываемым, беспокоящимся, рассеянным и как бы раздираемым низшими силами), всегда видит свой объект устойчивым, твердым и постоянным, всегда полным' и в неизменном сиянии красоты. Поэтому объект его постоянно отнимает себя у него, поскольку не уступает себя ему и всегда отдает себя ему, поскольку уступает ему себя; всегда так же жжет его в страсти, как и всегда блещет для него в мысли, всегда столь жесток в уклонении от того, от чего должен уклоняться, как и всегда столь прекрасен в общении с тем, что стоит перед ним; всегда мучает его тем, что отделен от него расстоянием, как и всегда доставляет ему наслаждение, будучи соединен с ним в страсти.

Чикада. Однако примените эти ваши слова о разуме к изречению.

Тансилло. Там сказано: Я всегда подобен себе; это означает, что при помощи моего постоянного упражнения, соответственно интеллекту, памяти и воле (ибо не хочу иное вспоминать, понимать и желать), я всегда подобен себе, равно как, насколько могу постичь это постоянство, во всем подобен также всему предстоящему, и я не отвлекаюсь рассеянностью мысли и не затемняюсь недостатком внимания, так как нет такой мысли, которая отвлекла бы меня от того света, и нет такой необходимости в природе, которая обязывала бы меня уменьшать внимание. Я всегда подобен себе под его углом зрения, потому что он неизменен в сущности, в добродетели, в красоте и в действии в отношении тех вещей, которые постоянны и неизменны в отношении к нему. Далее сказано: и светилу, потому что по отношению к солнцу, освещающему ее, луна всегда одинаково освещена, будучи все время равно обращенной к нему, а солнце всегда

подобным же образом шлет ей свои лучи; и хотя эта, видимая глазами луна с земли кажется то темной, то светящейся, то более или менее освещенной и освещающей, все же она со стороны солнца всегда освещена в равной мере, потому что получает от него лучи по меньшей мере в заднюю сторону всего своего полушария, так же как и наша земля равным образом всегда освещена в полушарии, хотя с водной поверхности время от времени она не одинаково посылает свой блеск луне (которая, как и многие прочие неисчислимые звезды, считается нами иной землей); это бывает, когда земля посылает его ей, имея в виду совместно проходимые фазы нахождения то земли, то луны ближе к солнцу.

Чикада. Почему этот разум изображен в виде луны, светящей полушарием?

Тансилло. Всякого рода разумы изображаются в виде луны, поскольку они участвуют в действии и в возможности и поскольку они имеют свет и от собственной материи и по соучастию, получая его от другого; это значит, что они не являются светом по себе и по своей природе, но благодаря солнцу, которое есть первый разум, чистый и абсолютный свет, так же как и чистое и абсолютное действие.

Чикада. Следственно, все вещи, которые зависимы и которые не являются первоактом и причиной, составлены как бы из света и тьмы, из материи и формы, из возможности и действия?

Тансилло. Так оно и есть! Далее, душа наша соответственно всей своей сущности изображается в виде луны, сияющей полушарием высших возможностей, поскольку она обращена к свету умопостигаемого мира, и она темна в силу низших возможностей, поскольку подвластна материи.

Чикада. Мне кажется, что только что сказанное имеет некоторое следствие и символ в девизе на следующем щите, где изображен корявый и ветвистый дуб, на который дует ветер, и вокруг изречение: Силе противостоит сила. А рядом прикреплена таблица, где написало следующее:

О старый дуб, ты распростер в лазури
 Свою листву, а корни в землю врыл;
 Ни сдвиг земных пластов, ни ярость бури,
 Что Аквилон в долину устремил,
 Ни лютое дыхание зимней хмури,
 Тебя не свалят: ты — все тот, что был.
 Ты образ истинный моих воззрений,
 Не дрогнувших средь стольких потрясений.
 Все ту же пядь земли своей Т
 ы крепко держишь, вечно обнимаешь,
 И в благостное лоно погружаешь
 Признательную сеть своих корней.
 Так я, влеком одной мечтою,
 Тянусь к ней чувством, мыслью и душою.

Тансилло. Изречение ясно. В нем Энтузиаст обещает выказать силу и крепость, подобную каменному дубу, и, так же как дуб, всегда быть единым по отношению к единственному Фениксу, как и в предшествующем сонете, где Энтузиаст обещает подражать такой луне, которая всегда блестит и всегда прекрасна, или же уподобляться луне не тогда, когда она находится между солнцем и нашей землей, поскольку она изменяется на наших глазах, а тогда, когда она всегда получает равную порцию солнечного блеска для себя; и подобным образом Энтузиаст остается столь же твердым и устойчивым против северных бурь и зимних непогод в силу собственной устойчивости на своей планете, на которой он коренится с чувством и сознанием, как вышеназванное дерево с его обильными корнями, переплетающимися с венами земли.

Чикада. А я больше ценю жизнь спокойную и без неприятностей, чем требующую такой выносливости.

Тансилло. Это — мнение эпикурейцев, которое, если его правильно понять, не следует считать таким вульгарным, каким его считают невежды. Надо иметь в виду, что оно не отбрасывает то, что я называю добродетелью, и не осуждает совершенства стойкости, но скорее добавляет к этому совершенству те свойства, которые ьидит в нем толпа. Ведь оно не считает истинной и совершенной добродетелью эту

силу и то постоянство, которые помогают пережить и перенести неудобства, но ту добродетель, которая их несет, не чувствуя их; оно не считает совершенной любовью, божественной и героической, ту любовь, которая чувствует шпоры, узду, или угрызение, или тяготы другой любви, но ту, которая в действительности не переживает других чувств и поэтому в такой степени связана с наслаждением, что не может перестать нравиться кому-либо, отвлекая его или же расчлняя вдруг это чувство. А это и значит коснуться вершины блаженства в данном состоянии — получать наслаждение, не ощущая боли.

Чикада. Обычное суждение не так понимает Эпикура.

Тансилло. Потому что не читают ни его книг, ни тех книг, где без зависти излагаются его взгляды, в отличие от тех, где читаешь о ходе его жизни и о его смертном конце. Там изложена основа его завещания в следукъ щих словах: В последний и в то же время в счастливейший день нашей жизни мы установили спокойной, здоровой и безмятежной мыслью вот что: сколько бы с одной стороны нас ни мучила самая большая мука — каменная болезнь, — все же это мучение поглощалось наслаждением от сознания наших открытий и созерцания конца. Очевидно, он не считал, что больше счастья, чем горя, в еде и питье, в лежанье и в зачатии, нежели в отсутствии чувства голода, жажды, усталости и вожделения. Из этого ты видишь, каким является, по-моему, совершенство стойкости: оно — не в том, что дерево не рушится, не ломается или не гнется, но в том, что оно избегает движения; подобно дереву, и Энтузиаст устремляет дух, чувство и интеллект туда, где нет ощущения буйных ударов.

Чикада. Вы, таким образом, считаете желательным переносить мучения, потому что это дело силы?

Тансилло. То, что вы называете переносить, есть часть твердости, а не вся добродетель, которую я называю переносить с силою, а Эпикур называл не чувствовать. Эта нечувствительность имеет причиной то, что все охвачено заботой о добродетели, об истинном благе и о счастье. Таким образом, Регул не чувствовал лука, Лукреция — кинжала, Сократ — яда, Анаксарк — каменного резервуара, Сцевола — огня, Коклес — пропасти, а прочие — иных вещей, которые чрезвычайно мучили и устрашали людей обыкновенных и низких.

Чикада. Переходите к следующему.

Тансилло. Смотри, вот рисунок молота и наковальни, вокруг которых идет изречение: От Этны. Но раньше, чем рассмотрим его, прочтем стихи: Здесь изображена прозопопея Вулкана:

[34]

Меня раскаты Этны не влекут,
Когда с ее вершины Зевс грохочет;
Я, увалень-Вулкан, останусь тут,
Где молодой Титан воспрянуть хочет,
В ком новые дерзания живут
И против неба гордый гнев клокочет,
Здесь тяжелее молот, крепче жар,
И горн, и наковальня, и удар.
Здесь грудь так вздохами полна,
Что, как мехи, они в ней распаляют
Огонь, которым душу закаляют,
Чтоб яд мучений вынесла она.
Но слышит слух скрежещущие звуки
Испытанных обид и долгой муки.

Здесь показаны мученья и неудобства любви, больше всего любви низменной, которая есть не что иное, как кузница Вулкана, молот, который кует молнии Юпитера, мучающие преступные души. Ведь беспорядочная любовь несет в себе начало своего наказания, принимая во внимание, что бог близок, что он с нами, что он внутри нас. В нас находится некая священная мысль и понимание, держащие в подчинении собственную страсть и имеющие своего мстителя, который угрызением верной совести, по меньшей мере как некий неумолимый молот, бичует преступный дух. Эта мысль следит за нашими действиями и страстями, и она обращается с нами так, как мы обращаемся с нею. У всех любящих, скажу я, имеется этот кузнец-Вулкан; как нет человека, который не имел бы в себе бога, так нет любящего, который не имел бы этого бога. У всех несомненным образом имеется бог, но каков этот бог у каждого, не так-то легко узнать; а если даже и возможно исследовать и различить, то можно только думать, что он познается любовью, как и то, что он движет весла, вздувает парус и управляет нашим целым, — отчего на благо или на зло приходит и страсть.

Я высказываюсь о страсти в зависимости с к того, кто приводит ее в осуществление моральными действиями или созерцанием, потому что в конце концов все любящие обычно чувствуют некоторое неудобство; ведь вещи смешаны, ибо нет такого блага, к которому, под влиянием мысли и страсти, не было бы присоединено или которому не было бы противопоставлено некое зло, как нет такой истины, с которой не соединялась бы или которой не противопоставлялась бы ложь. Так нет и любви без боязни, без чрезмерного рвения, ревности, обиды и других страстей, происходящих от одной противоположности, которая ее мучает, если другая противоположность дарит ей вознаграждение. Так душа, намеревающаяся открыть телесную красоту, старается очиститься, оздоровиться, измениться и поэтому применяет огонь; ибо, подобно тому как золото, будучи смешанным с землей и бесформенным, при некотором напряжении хочет освободиться от грязи, так действует и интеллект, истинный кузнец Юпитера, когда дает вам руки, побуждая вас к действиям умственной силы.

Чикада. К этому, кажется мне, относится находящееся в «Пире» Платона место, где сказано, что Любовь унаследовала от матери Бедности бытие жесткое, тощее, бледное, разутое, покорное, без ложа и без крова. Из-за этих-то свойств она и называется мучением, которым болеет душа, изнуренная противоречивыми страстями.

Тансилло. Это верно; потому что дух, возбужденный подобным восторгом, возвращается из глубин мысли рассеянным, разбитым неотложными заботами, разгоряченный жаркими желаниями, воодушевленный многочисленными поводами. Вот отчего душа, будучи приподнятой, неизбежно становится менее внимательной и менее деятельной в управлении телом при помощи растительных сил. Из-за этого и тело становится худым, плохо питаемым, истощенным, малокровным, полным меланхолических соков, которые, если они не являются орудиями души дисциплинированной или же духа ясного и светлого, то ведут к безумию, к глупости и к грубой ярости или же, по меньшей мере, к недостатку заботы о себе и пренебрежению к своему существованию, что у Платона обозначено посредством босых ног. Любовь принижена и движется, как бы пресмыкаясь, по земле, охваченная низкими силами. Высоко же она летает, когда отдается более высоким деяниям. В заключение по этому поводу скажу, что

какова бы ни была любовь, она всегда озабочена и мучается участью, которая не может не стать материалом для кузницы Вулкана; ведь душа, будучи божественной вещью и, естественно, не рабой, но госпожой телесной материи, тревожится еще и тем, что добровольно служит телу, в котором не находит ничего, что ее удовлетворило бы; и хотя душа устремлена к любимому, все же всегда оказывается многое такое, что беспокоит и волнует ее в порывах надежд, боязней, сомнений, рвений, сознаний, угрызений совести, упорств, раскаяний и прочих мучителей, каковыми являются мехи, уголь, наковальни, молоты, клещи и прочие инструменты, находящиеся в кузнице этого отвратительного грязного супруга Венеры.

Чикада. Однако по этому вопросу высказано достаточно. Сделайте милость, посмотрите, что следует дальше.

Тансилло. Здесь золотое яблоко с эмалью, богато изукрашенное драгоценностями, с изречением вокруг: Предназначено прекраснейшей.

Чикада. Этот намек на трех богинь, которые предстали перед судом Париса, — весьма обыден. Однако надо прочесть стихи, они дадут нам большую возможность понять, каковы подлинные цели Энтузиаста.

Тансилло.

[35]

Венера, неба третьего богиня,
Мать отрока, чей беспощаден лук,—
Главой отца рожденная Афина,—
И Гера, старшая среди супруг,—
Спросили Пастуха-Троянца: чья гордыня
Оправдана? кто краше из подруг?..
Моя ж богиня выше их! Ей мера —
Не Гера, не Паллада, не Венера!
Она поспорит красотой
С Кипридою, а разумом с Минервой,
Она и близ Юноны будет первой,
Хоть много величавости у той;
Она прекрасней их обличем,—
Умом, и красотою, и величем!

Так-то вот Энтузиаст проводит сравнение своего объекта, который в едином субъекте совмещает все обстоятельства, свойства и виды красоты, с другими объектами, которые показывают их лишь в одиночку у каждого отдельного субъекта, а затем все виды красоты — посредством различных предполагаемых субъектов. Так обстоит дело с одним видом телесной красоты, все достоинства которой Апеллес не смог показать в изображении одной девы, но лишь изобразив многих. Здесь же, где наличествуют три вида красоты, то, хотя все эти три вида находятся в каждой из трех богинь (поскольку у Венеры не отсутствует мудрость и величавость, Юнона не лишена изящества и мудрости, а у Паллады всеми признается и величие и красота), все же у каждой одно качество преобладает над остальными, в силу чего именно оно и почитается как бы ее особенностью, прочие же — общими свойствами, поскольку из этих трех даров один является у каждой преобладающим и показывает ее, и в самом деле делает ее, выше других. Основанием же такого различия служит то, что причины лежат не в существе и не являются первичными, но лишь по, соучастию и производно. Так и во всем: зависимые вещи суть совершенства — соответственно ступеням большего и меньшего — большие и меньшие.

Но в простоте божественной сущности все полно, а не ограничено, и поэтому в ней мудрость не больше, чем красота и величие, и доброта не больше, чем сила, но все эти ее атрибуты не только равны друг другу, но даже тождественны и заключаются в одной и той же вещи. Так, в шаре все измерения не только равны (ибо длина такова же, как высота и ширина), но даже являются одними и теми же, имея в виду, что тот, кто употребляет для шара слово «высота», точно так же может употребить и слова: «длина» и «ширина». Так и в высоте божественной мудрости, которая есть то же, что глубина силы и широта благодати, все эти совершенства равны, потому что бесконечны. Поэтому каждая по величине неизбежно является любой другой. Отсюда проистекает, что там, где эти вещи конечны, одно более мудро, чем прекрасно и хорошо, или одно более хорошо и прекрасно, чем мудро, или одно более мудро и хорошо, чем сильно, или же одно более сильно, чем хорошо и мудро. Но там, где бесконечная мудрость, там может быть только и бесконечная мощь, потому что иначе нельзя было бы знать бесконечно. А где бесконечное благо — там нужна

бесконечная мудрость, потому что иначе не могло бы быть бесконечно-благое. Там же, где есть бесконечная мощь, должна быть бесконечная доброта и мудрость, потому что сила познания должна быть такова же, как возможность познания. Теперь гляди, насколько объект этого Энтузиаста, как бы опьяненного напитком богов, несравненно выше иных объектов, отличающихся от этого: я имею в виду то, что умопостигаемый вид божественной сущности в высшей степени включает в себя совершенство всех прочих видов. Отсюда и получается, что соответственно степени, в которой можно быть причастным этой форме, можно понять все и делать все и быть другом ее одной, в такой степени, что возникает презрение и тоска от всякой иной красоты. Поэтому именно ей и должно быть посвящено шаровидное яблоко, поскольку в ней одной вмещается все во всем, а не прекрасной Венере, которую Минерва превосходит в мудрости, а Юнона в величии; и не Палладе, по сравнению с которой Венера красивее, хотя та и величавее; и не Юноне, которая не является ни богиней мудрости, ни любви.

Чикада. Несомненно, что подобно тому, как существуют ступени природы и существ, так существуют, соответственно этому, а ступени умопостигаемых видов и величий любовных страстей и энтузиазма.

Чикада. На следующем щите изображена голова с четырьмя лицами, дующими в четыре угла небес; здесь в одной теме изображены четыре ветра, над которыми стоят две звезды, а посередине — изречение: Новые бури Эолии. Хотелось бы узнать, что это означает.

Тансилло. Мне кажется, что смысл этого девиза соответствует смыслу предыдущего. В самом деле, как там в качестве объекта утверждается бесконечная красота, так и здесь выявляется многообразие надежд, терпений, страстей и желаний. Поэтому я считаю, что эти ветры должны означать вздохи, о которых мы узнаем, прочитав стихи:

Аврорины, Астреевы сыны,
 Колеблющие небо, землю, море,—
 Вы непокорства все еще полны?
 Вы все еще с богами в гордом споре?
 Прочь из пещер Эолии! Должны
 Вы путь себе искать в ином просторе:
 Я вам велю вместиться в эту грудь,
 Чтоб в горестях она могла вздохнуть!
 Вы, от кого морям покоя нет,
 Вы, двигатели бурь их и волненья,
 Одно вам может дать успокоенье:
 Двух звезд губительно-безвинный свет,
 Которые, открыты иль сомкнуты,
 Вернут покоя вам и гордости минуты.

Мы ясно видим здесь, что нам представлен Эол, говорящий ветрам, что они, по его словам, не могут быть им успокоены в Эолийских пещерах, но лишь двумя звездами в груди Энтузиаста. Две звезды означают здесь не два глаза на прекрасном лице, но два воспринимаемых вида божественной красоты и доброты этого бесконечного сияния, которые так влияют на интеллектуальное и разумное желание, что побуждают Энтузиаста дойти до бесконечного желания того, чему так бесконечно велико, прекрасно и благостно обучает этот превосходный свет. Ведь любовь, будучи до некоторой степени оконченной, насыщенной и установившейся, станет обретаться не около видов божественной красоты, но близ иных облиций; пока же она будет идти, стремясь все выше и выше, она сможет сказать себе, что вращается вокруг бесконечности.

Чикада. Удобно ли обозначать воздыхание через вдыхание? почему ветры являются символом желания?

Тансилло. Кто из нас в этом состоянии вдыхает, тот вздыхает и вместе с тем дышит. Поэтому жар воздыхания обозначен этим иероглифом сильного дыхания.

Чикада. Но между воздыханием и дыханием есть разница.

Тансилло. Потому-то они и не обозначаются одно другим, как то самое через то же, но лишь как подобное подобным.

Чикада. Все же развеите вашу мысль!

Тансилло. Итак, бесконечное вдыхание, выраженное посредством вздохов и обозначенное ветрами, подвластно не Эолу в Эолии, но названным двум светочам. Они не только в высшей степени невинно, но и чрезвычайно милостиво убивают безумца, заставляя его в глубокой страсти умирать, созерцая все прочее. Они, находясь взаперти и в укрытии, делают его бурным, а становясь открытыми, — делают его спокойным. Ведь в ту пору, когда глаза человеческой мысли заволакиваются в нашем теле туманным покровом, душа с большей силой делается взволнованной и опечаленной, чем разрываемая и толкаемая, она делается настолько возвышенной и спокойной, насколько надо, чтобы удовлетворить требованиям своей природы.

Чикада. Как может наш конечный ум следовать за бесконечным объектом?

Тансилло. Благодаря имеющейся в нем бесконечной мощи.

Чикада. Но она тщетна, если когда-либо станет действовать.

Тансилло. Она была бы тщетной, если бы сопутствовала конечному действию, в котором бесконечная мощь была бы исключена, а не сопутствовала бесконечному действию, где бесконечная мощь является положительным совершенством.

Чикада. Если человеческий ум по природе и действию конечен, как и почему возможность его бесконечна?

Тансилло. Потому что ум вечен, и оттого всегда наслаждается, и не имеет ни конца, ни меры своему счастью; и потому-то, так же как он конечен в себе, так он бесконечен в объекте.

Чикада. Какая разница между бесконечностью объекта и бесконечностью возможности?

Тансилло. Эта последняя бесконечно-конечна, первый же бесконечно-бесконечен. Однако вернемся к исходному месту: изречение там гласит: Новые ветры Эолии; это позволяет предположить, что все ветры (в бездонных пещерах Эола) обратились бы во вздохи, если бы мы смогли сосчитать те, которые проистекают от страсти, движимой без конца желанием высшего блага и бесконечной красоты.

Чикада. Рассмотрим-ка теперь пылающий факел, вокруг которого в надписи значится: На жизнь, а не на час.

Тансилло. Постоянство в такой любви и горячее желание истинного блага, которыми пылает в нынешнем временном состоянии

Энтузиаст, показаны, думается мне, в следующем стихотворении:

[37]

Уходит из дому крестьянин рано,
Едва встает с груди Востока день;
Когда ж начнет жечь солнце слишком рьяно,
Томимый зноем, он садится в тень.
И снова до вечернего тумана
Он трудится в поту, изгнавши лень;
Потом он спит. Я ж не смыкаю очи
Ни на заре, ни в полдень, ни средь ночи.
Затем что два пылающих луча,
Что взоры солнца мне бросают,
С пути души моей не исчезают;
Их ярость неизменно горяча
И, волею судьбы моей, жжет властно
Мне горестное сердце ежечасно.

Чикада. Это стихотворение скорее в соответствии с действительностью, чем по существу, объясняет смысл изображения.

Тансилло. Мне не к чему стараться, чтобы дать вам увидеть, в чем тут сущность: чтобы заметить ее, нужно лишь взглядеться с большей внимательностью. Очи солнца — это лучи, с помощью которых божественная красота и доброта являют себя нам. И они — пылающие, так как не могут быть восприняты умом без того, чтобы вследствие этого не возжечь страсть. Два луча солнца — это два вида откровения, которые теологи-схоластики называют утренним и вечерним. Отсюда наша умственная работа, наша просветительница, как воздух-посредник, доводит эти два откровения до нас или в добродетели, которая восторгается ими в самой себе, или же в действии, которое рассматривает их по результатам. Горизонт, путь души в этом месте есть часть высших сил, где смелой восприимчивости ума помогает мужественный толчок страсти, обозначенный в виде сердца, которое, пылая, всегда печалится; поэтому все плоды любви, которые мы можем собрать в этом состоянии, не настолько сладки, чтобы не быть связанными с некоторой печалью, во всяком случае с той, что проистекает от сознания неполного использования. Так сугубо бывает

в плодах физической любви, условия которой я не смог бы выразить лучше поэта-эпикурейца:

От лица человека, которое блещет красою,
Прибыли нет, кроме образов от предвкушения нежных,
Кои несбывшейся часто надеждой уносятся в ветер.
Жаждающий ищет порою во сне, где бы выпить, но влаги
Не получает нигде, чтобы жар утолить в своих членах.
Образы жидкостей он вызывает и тщетно томится,
Воображая себя утоляющим жажду в потоке.
Так и в любви, постоянно с влюбленными шутит
Венера.

Зрением не в состоянии любовники тело насытить;
Тщетно блуждают дрожащие руки по целому телу
И ничего соскоблить с упоительных членов не могут.
Тою порой, когда в юных летах наслаждаются двое,
Членами всеми обнявшись, когда предвещает им тело
Сладость, Венера старается женщинам пашню засеять,
Жадно друг к другу любовники жмутся, сливается вместе

Влага их губ и дыханье, в уста их впиваются зубы.
Все понапрасну! Они ничего соскоблить тут не могут
Или проникнуть друг в друга, чтоб с телом смешать свое тело.

Подобным образом он судит о роде вкуса, который мы можем получить от божественных вещей: когда мы стараемся проникнуть в них и вкусить, то получаем больше огорчений в желании, чем наслаждений в приобщении к ним. И поэтому мудрец Еврей мог сказать, что умножающий знание умножает печаль, так как от большего накопления рождается большее и более высокое желание, а отсюда следует большее огорчение и боль из-за отсутствия желаемого. Поэтому эпикуреец, который вел более спокойную жизнь, говорит о вульгарной любви:

Но избегать должно образов тех, и от пищи любовной
Ум отвращать, направляя его на другие предметы;
Тем оградим мы себя от тревог и от верных страданий:
Зреет ведь рана любви и растет, когда пищу находит.
Изо дня в день матереет безумство, скопляются беды;
Кто избегает любви, не лишен наслаждений Венеры,
Наоборот, без труда он их с большим удобством вкушает.
Чикада. Что вы понимаете под меридианом сердца?

Тансилло. Более высокую и более выдающуюся часть или область воли, где она ярче, сильнее, действительнее и прямее подогревается. Надо понимать, что такая страсть как бы находится не в начале, которое растет, и не в конце, который пребывает в покое, но как бы посередине, где пламенеет.

Чикада. А что значит эта горящая стрела с пламенем на месте железного острия, вокруг которой обвилась лента с надписью: Любовь вселяется в миг. Скажите, как вы понимаете это?

Тансилло. Мне кажется, это говорит о том, что любовь никогда его не покидает и равным образом вечно его печалит.

Чикада. Я хорошо вижу ленту, стрелу и огонь; понимаю, что написано: Любовь вселяется, но того, что идет дальше, не могу понять: то есть, что любовь, как проникнувшая или вселившаяся, вселилась; это такое же трудное выражение, как если бы кто сказал, что его девиз есть: выдумка как выдумка, дверь как дверь, понимаю все это, как понимаю, все эго стоит столько, сколько стоит, уважаю все это, как тот, кто все это уважает.

Тансилло. Легче решает и осуждает тот, кто меньше вникает. Это п миг не означает дополнения к глаголу вселиться; это — имя существительное, взятое для обозначения мгновения времени.

Чикада. А что вы хотите сказать, говоря: любовь поселяется в миг?

Тансилло. А что хотел сказать Аристотель в своей книге «О времени», говоря, что вечность есть миг и что время в своем целом есть не что иное, как миг?

Чикада. Как это может быть, если нет такого минимума времени, который не имел бы нескольких мгновений? Неужели он хотел сказать, что в один миг был потоп, Троянская война, да еще и мы, присутствующие здесь? Хотел бы я знать, как же этот миг делится на

столько веков и лет, и не можем ли мы в той же мере сказать, что линия есть точка?

Тансилло. Как время едино, но пребывает в различных временных явлениях, так и мгновение едино в различных и во всех частях времени. Совершенно так же, как я — один и тот же, что был, есть и буду, я тот же здесь, в доме, в храме, в поле и всюду, где нахожусь.

Чикада. Почему вы утверждаете, что миг является всем временем?

Тансилло. Потому что, если бы не было мгновения, не было бы времени; поэтому время в своей сущности и в своей субстанции есть не что иное, как мгновение. И этого достаточно, если вы это поняли (потому что не хочу разглагольствовать о четвертой книге «Физиики»). Отсюда надо понять смысл изречения, что любовь сопровождает не меньше, чем время в целом, ибо этот миг не означает точку во времени.

Чикада. Нужно, чтобы это значение было как-то подчеркнуто, если мы не хотим, чтобы получилось порочное и двусмысленное изречение; тогда мы могли бы свободно понять, что Энтузиаст хочет сказать то ли, что его любовь длится одно мгновение, то есть один атом времени и не больше, или же он хочет сказать, что она должна, по вашему толкованию, продлиться навсегда.

Тансилло. Несомненно, что, если бы здесь были включены оба эти противоречивых смысла, изречение было бы шуткой. Но на самом деле это не так, если хорошо вдуматься: ведь одного мига, являющегося атомом и точкой, когда любовь входит или вселяется, не может существовать; необходимо, значит, понять миг в другом значении. А чтобы покончить с толкованиями, прочитаем стихи:

Есть время сеять, время — собирать;
Ломать — и строить; плакать — и смеяться;
Трудиться — и безделью предаваться;
Держать — и двигать; бегать — и лежать;
Есть время класть — и время поднимать;
Целить — и ранить; ждать и устремляться;
Меня ж за мигом миг, за годом год
Любовь пытается, дыбит, ранит, жжет.
Она мне сокрушает члены,
Она меня ввергает, как палач,
Из стонов в стоны и из плача в плач;
И нет моим мученьям перемены,
И их однообразный ход
Ни роздыха, ни смерти не дает.

Чикада. Смысл этого я понял довольно хорошо и признаю, что все отлично согласовано. Поэтому, мне кажется, время перейти к другому.

Тансилло. Здесь видны: змея, умирающая на снегу, куда ее бросил землепашец, и голый мальчик, попавший меж огней, как это бывает, и изречение: То же самое, так же, но не то. Эти слова мне кажутся большей загадкой, чем другие, поэтому я не уверен, что дам тут действительное объяснение. Все же думаю, что это должно означать ту самую тяжелую судьбу, которая мучает как змею, так и мальчика (то есть преднамеренно, безжалостно, смертельно) разными и противоположными средствами, проявляющимися то в холоде, то в жаре. Но, мне кажется, это требует дальнейших и различных соображений.

Чикада. Это в другой раз. А сейчас — читайте стихи.

Тансилло.

[39]

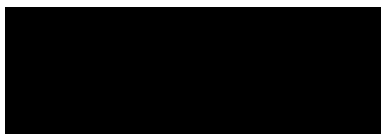
Змея! Томясь на плотном снежном слое,
Ты корчишься, дрожишь, ты кольца вьешь
И, чтоб смягчить страдание такое,
С пласта на пласт от холода ползешь.
Не видит лед твое томленье злое,
Он глух к тому, что ты его зовешь,—
Будь иначе, он на твои мученья
Ответил бы хоть каплей сожаленья.
А я меж тем в неистовом огне
Вращаюсь, корчусь, мерзну и пылаю;
В моей богине я не примечаю
Ни склонности, ни жалости ко мне;
Она, как лед, не видит и не слышит,
Какою стужею мой пламень дышит.

[40]

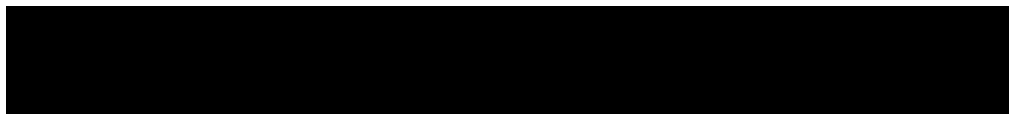
Ты хочешь ускользнуть, но тщетно, змей!
Смыкаешь пасть, но пасть твоя зияет,
Свиваешься, но сила иссякает,
Ты льнешь к земле, но снег лежит на ней;
Ждешь милосердья, но к мольбе твоей
Крестьянин глух и колом угрожает;
Звезда, заступник, место, хитрость, труд
Тебя уже от смерти не спасут.
Мне мил твой снег, тебе же мил мой зной;
Ты ежишься, я растворяюсь в боли;
Я рвусь к твоей, а ты к моей доле;
Но не дано свершить обмен судьбой;
И ты и я давно уж не невежды:
К нам злобен рок, — оставим же надежды!

Чикада. Пойдемте отсюда и попытаемся по дороге распутать этот
узел, если сумеем,
Тансилло. Хорошо!

Конец пятого диалога и первой части



Часть вторая



Диалог первый

Собеседники

Чезарино

и

Марикондо

*

Чезарино. Иногда говорят, что на свете существуют самые лучшие и самые прекрасные вещи, чему отлично соответствует вселенная во всех частях. И считают, что это бывает тогда, когда все планеты проходят через созвездие Овна, в силу того что последнее в эту пору из восьмой сферы поднимается к невидимой и более высокой сфере, где имеется иной зодиак. Для худших и наиболее низких вещей существует место, господствующее над противоположными расположениями и порядками. Однако в силу круговращения происходят чрезвычайные изменения от схожего к несхожему, от одной крайности к противоположной. Таким образом, переворот и большой мировой год есть тот период времени, в который от самых различных состояний и путем противоположных и обратных средств все возвращается к тому же, как в частном году, каким является солнечный год, где начало одной противоположности есть конец другой, а конец этой есть начало той. Вот почему в нынешние времена, когда мы находимся на самом дне наук, породивших подонки мнений, породивших грязные обычаи и действия, мы без сомнения можем ожидать возвращения к лучшему состоянию.

Марикондо. Знай, брат, что эта последовательность и порядок — несомненное и истинное дело; но, думается, всегда, в любом обычном состоянии, настоящее печалит нас больше, чем прошлое, а то и другое вместе могут меньше удовлетворить нас, чем будущее, которое всегда наличествует в наших ожиданиях и надеждах. Это хорошо видно в рисунке, заимствованном из древности, у египтян, делавших подобные же статуи, в которых на одном общем бюсте изображались три головы: одна — волка, смотревшего назад, другая — льва с пастью, обращенной к середине, и третья — собаки, глядевшей

вперед. Это означает, что прошлое печалит мысль, но не так, как настоящее, действительно волнующее нас, однако, всегда из-за будущего, обещающего лучшее. Вот почему там — воющий волк, здесь — рычащий лев, а рядом — радостно лающая собака.

Чезарино. А что значит написанное над ними изречение?

Марикондо. Смотри: над волком стоит — Было, над львом — Теперь, над собакой — Будет, то есть три силы, означающие три периода времени.

Чезарино. Теперь читайте, что начертано на доске.

Марикондо. Читаю

[41]

Волк, лев и пес являются с зарею,
При блеске дня, в вечерней темноте.
Что взял — при мне; добуду ж блага те,
Что были, суть и могут быть со мною.
Как делал, делаю, как планы строю
В былом, в текущем, будущей мечте —
Я каюсь, мучусь, тешусь в простоте
Утрат, страданий, чаяний борьбою.
И терпким, горьким, сладостным поят
Плоды трудов, их опыт, упования;
Они грозят, печалят — и смягчат.
Чем жил и чем живу — миг ожидания —
Бросают в дрожь, встряхнут — и оживят
В былом, сегодня, в далях предстоянья.
Довольно испытанья
Прошедшим, настоящим и грядущим:
Страх, боль — мой путь к надеждам всемогущим.

Чезарино. Это как раз и есть голова влюбленного Энтузиаста, любого из всех смертных, в какой бы грубой манере и форме ни проявлялись его страсти. Ведь мы не должны и не можем сказать, что это подходит ко всем состояниям вообще, но лишь к таким, которые будут мучить или уже мучат, имея в виду, что у искавшего царства и у владеющего уже им существует страх потерять его, и что у тех, кто старался достигнуть плодов любви, как особой милости любимого существа, естественны муки ревности и подозрения.

Что касается царств земных, то, если мы застаем их во тьме и в бедствии, можем наверняка предсказать им просветление и процветание; когда же мы в счастье и в порядке, то, несомненно, можем ждать появления невежества и страданий. Так было с Меркурием Трисмегистом, который, видя Египет во всем блеске знаний и предвидений (поэтому он и считал его людей сотоварищами демонам и богам и, следовательно, религиознейшими), высказал Эскулапу печальное пророчество, что за этим должны последовать сумерки девяти религий и культов, а совершенные ими дела станут лишь баснями и предметами осуждения. Точно так же и евреи, когда были в Египте рабами и были изгнаны в пустыню, получали утешение от своих пророков в виде ожидания свободы и обретения родины; когда они были у власти и в спокойствии, им угрожало рассеяние и пленение; ныне же, когда нет такого зла и поношения, которым они не подверглись бы, нет и таких благ и чести, которых они не ждали бы.

Подобное происходит со всеми другими поколениями и государствами, которые существуют и фактически не уничтожены; в силу превратности вещей они неизбежно идут от зла к добру, от добра к злу, от упадка к возвышению, от высот к упадку, от тьмы к блеску, от блеска к тьме. Именно это и соответствует естественному порядку, и если над таким порядком существует некто, кто его портит или выправляет, то я в это верю и не стану этого оспаривать, так как рассуждаю только в духе природы, а не иначе.

Марикондо. Мы знаем, что вы не теолог, а философ, и рассуждаете философски, а не теологически.

Чезарино. Верно. Но посмотрим, что идет дальше.

Чезарино. Вижу здесь курящееся кадило, которое держит рука, и изречение, гласящее: Его жертвенник. А рядом следующий текст:

Поистине позывов свет благой
Запятнан тем, что, пестро отягченный
Пустых обетов кладью немудреной,
В обитель Суеты направлен мной.
Но если подвиг ждет меня иной,
Кто кинет мне упрек неблагоклонный
В том, что, от низких целей отрешенный,
Я ввысь стремлюсь небесною тропой?
Прочь, прочь скорей иные все желанья!
Докучливая мысль — покоя мне!
Не отвлекай меня от созерцанья
Светила, совершенного вполне!
«Зачем искать, — твердят из состраданья
Мне люди, — то, что пепелит в огне?»
«Зачем стремиться в чудном сне
Узреть тот свет?» — Затем, что наслажденья
Нет слаще мне, чем те мои мученья!

Марикондо. По этому поводу я уже говорил тебе, что всякий, привязанный к телесной красоте и почитающий внешность, может все же почетно и достойно вести себя, потому что от физической красоты, являющейся лучом и отблеском формы и духовного действия, коих она — след и тень, Энтузиаст идет ввысь и достигает созерцания и почитания божественной красоты, света и величия; таким образом, от этих видимых вещей он идет к украшению сердца, настолько более превосходного в себе и более почтенного в очищенной душе, насколько оно отдалено от материи и чувства. Увы, скажешь ты, если красота, эта тень, темная, текучая, нарисованная на поверхности телесной материи, так нравится мне и так волнует мою страсть, так запечатлевает в моем духе неведомое уважение к величию, так пленяет меня, сладко связывает и так привлекает, что я не нахожу ничего лучшего, удовлетворяющего мои чувства, — то что же будет с тем, что по существу, по природе изначально прекрасно? Что будет с моей душой, божественным интеллектом, мерилom природы? Следовательно, необходимо, чтобы созерцание этого следа света вело меня через очищение души к подражанию, к сообразованию, к соучастию в более достойной и высокой красоте, в которую я преобразовываюсь и с которой соединяюсь, потому что я уверен, что

природа, поставившая перед моими глазами эту красоту и одарившая меня внутренним чувством, которым я — могу обосновывать более глубокую и несравнимо большую красоту, — эта природа хочет, чтобы я от этой низшей красоты поднялся к высоте и значительности более совершенных видов. Я верю в то, что истинное мое божество, каким оно являет мне себя в следе и образе, желает смиростивиться, чтобы я его почтил в этом образе и следе и принес жертву тем, что мое сердце и страсть всегда будут должным образом) направлены на более высокие цели. Ведь кто смог бы его почитать в его сущности и в собственной субстанции, если не может понять его в образном виде?

Чезарино. Ты очень хорошо — показываешь, что для людей героического духа все обращается во благо и они умеют использовать плен как плод большей свободы, а поражение превратить иной раз в высокую победу. Ты хорошо знаешь, что любовь к телесной красоте у тех, кто к ней расположен, не только не удерживает их от больших достижений, но скорее расправляет им крылья, чтобы достичь их; так что необходимость любви обращается в добродетельное усилие, благодаря которому любящий стремится прийти к цели, достойной любимого дела и, может быть, еще большей и лучшей и еще более прекрасной. Поэтому он либо будет доволен, завоевав то, о чем мечтал, либо же удовлетворен своей собственной красотой, благодаря которой может пренебрегать иной, уже побежденной и превзойденной им. Поэтому же он либо успокоится, либо станет стремиться к еще более превосходным и великолепным объектам. Таким-то образом героический дух всегда будет идти вперед и подвергаться испытаниям, пока не увидит себя поднявшимся до желания божественной красоты в ней самой, без уподобления, очертания, образа и вида, если это возможно. И даже больше: он сможет достигнуть этого.

Марикондо. Посмотри же, Чезарино, насколько прав этот Энтузиаст, негодуя на принимающих его за пленника низшей красоты, в честь которой распространяются обеты и развешиваются посвятительные стихи; он, таким образом, не станет поднимать мятежа против голосов, зовущих его к более высоким деяниям; ведь так же, как низшие дела проистекают и зависят от более высоких, так от низких можно получить доступ к более высоким восходя по ним, как по собственным ступеням. Эти дела являются, если не самим божеством, то божественными, это — его живые образы, в которых

оно, если видит себя почитаемым, то не чувствует оскорбления. Вот почему мы имеем указание всевышнего духа, гласящее: Поклоняйтесь подножию ног его. А в другом месте некий божественный посланник говорит: Поклонимся месту, где стояли стопы его.

Чезарино. Бог, божественная красота и блеск отражаются и пребывают во всех вещах; поэтому мне не кажется ошибкой чтить его во всех вещах, в соответствии с формой, которую он дает им. Конечно, будет ошибкой, если мы воздадим другим честь, которая принадлежит только ему.

А что поэт хочет сказать словами: Прочь, прочь скорей, иные все желанья?

Марикондо. Он гонит от себя мысли, предъявляющие ему иные объекты, лишённые сил так волновать его и желающие похитить у него вид на солнце, которое может явить себя ему через это окно больше, чем через другое.

Чезарино. Почему, несмотря на всякие назойливые мысли, он все же остается постоянным в любовании блеском, который уничтожает и притом еще вызывает в нем недовольство тем, что недостаточно сильно мучает его?

Марикондо. Потому что все, что приносит нам удобства в этом противоречивом состоянии, не существует без неудобств настолько же значительных, насколько удобства великолепны. Насколько сильнее у короля боязнь потерять королевство в сравнении с нищим, которому грозит опасность потерять десять динариев, и насколько нужнее забота государя о государстве, чем селянина о стаде свиней, настолько наслаждения и желания у первых значительнее, чем наслаждения и желания у вторых. Поэтому любовь и устремление к более высокому соединяет большую славу и величие с большей заботой, мыслью и болью; потому что в этом состоянии, где одна крайность всегда связана с другой, всегда находится и величайшая

противоположность того же рода, и, следовательно, она относится к тому же субъекту, хотя противоположности и не могут быть вместе. И, соответственно, то же имеется и в высшей любви Амура, и в вульгарной, животной чувственности, как это свидетельствует поэт-эпикурец.

...Ведь от страсти любовник
Часто в сомнениях колеблется, даже когда овладел он,
И не решает: должны наслаждаться глаза или руки?
Плотно сжимая предмет своей страсти, он боль причиняет;
А иногда он зубами своими впивается в губы
При поцелуях; а значит, здесь полного нет наслаждения,
И остается заноза, которая все ж непрестанно
Мучит любовников и пробуждает в них дикую ярость.
Но средь любви прерывает Венера тихонько страданье
И умеряет укусы, внося в них свое наслаждение.
Льстятся надеждой иные, что то, из чего возникает
Пылкая страсть, может столь же легко погасить ее пламя.

Вот, значит, каковы приправы, при помощи которых ученье и искусство природы делают так, что человек мучается ради наслаждения тем, что его уничтожает, бывает доволен в мучениях и страдает среди всяких удовольствий. Это значит, что абсолютно ничто не делается из мирного начала, но все возникает из противоположных начал через победу и господство одной из противоположных сторон; и нет радости зарождения одной стороны без горести разложения другой, и там, где рождающие и разлагающие стороны соединены, как бы обретаясь © одном и том же сложном субъекте, там находится вместе и ощущение удовольствия и ощущение печали. Отсюда следует, что скорее надо называть удовольствием, чем печалью, то, что получает преобладание и с большей силой может побуждать чувство.

Чезарино. Обсудим следующее изображение: Феникс горит при солнечном свете и своим дымом застигает блеск того огня, от которого он воспламенился. И здесь же надпись, где сказано: Не подобен и не равен.

Марикондо. Прочитаем сначала стихотворение.

Тот Феникс, что от солнца пламенеет,
От мига к мигу гаснет, истощен,
И, возвращая солнцу блеск пламен,
В своей заемной яркости скудеет.

То, чем теперь он в высях неба реет,
Есть теплый дым, сырой туман, — и он
Уже не светит взорам, устремлен
Назад к светилу, кем горит и рдеет.

Таков мой дух; его с своих высот
Зажег огонь небес; он изъясняет
Все, чем мой разум творчески лучится;

Он с высоты своих прозрений шлет
Тот блеск стиха, что солнце затмевает;
Но мне дано в нем только распылиться!

Увы! Над ним столбом клубится
Лишь дым от пепелища. Так мрачу
Я то, чему величье дать хочу.

Чезарино. Оно говорит о том, что этот Феникс, появившись от блеска горящего солнца и привыкший к свету и пламени, затем посылает в небеса дым, затемняющий то, что сделало его сияющим; так и Энтузиаст, зажженный и освещенный тем, что сделал в похвалу столь знаменитого субъекта, зажегшего ему сердце и освещающего ему мысль, скорее затемняет того субъекта, чем возмещает его светом за свет, производя дым, результат пламени, в котором растворяется его субстанция.

Марикондо. Не ставя на весы и не сравнивая его старания, я снова возвращаюсь к тому, что я сказал тебе третьего дня, а именно: что похвала есть одно из самых больших жертвоприношений, которое может принести человеческое уважение объекту. Так вот, оставив в стороне вопрос о божественном., скажи мне: кто знал бы Ахилла, Одиссея и многих других троянских вождей, кто имел бы понятие о многих великих войнах, мудрецах и героях земли, если бы они не были изображены на надгробных плитах и не обожествлялись в священных песнопениях, зажегших огонь на алтаре сердца знаменитых поэтов и прочих декламаторов, а вместе с огнем и то, что обычно возносят к небу жертвующий, жертва и канонизируемое божество рукою и обетом законного и достойного жреца?

Чезарино. Ты правильно сказал о достойном и законном жреце. Ведь мир нынче полон отступниками, которые, будучи обычно

недостойными, сами всегда являются для прославления других недостойных, — откуда и получается, что «ослы поглаживают ослов». Но по воле провидения, вместо того чтобы тем и другим возноситься на небеса, они вместе идут во тьму ада; поэтому тщетны и слава прославляющего и слава прославляемого. Ведь один сплетал статую из соломы, или ваял обрубок из дерева, или клал под струю кусок извести, а другой, идол гнусности и поношения, не знает, что ему не надо ждать зубов времени и косы Сатурна, чтобы быть поверженным ниц; он погребен заживо самим восхвалявшим в тот самый час, когда его восхваляли, приветствовали, провозглашали, представляли. Обратное произошло с тем благоразумным и столь прославленным Меценатом, который обладал всего лишь блеском души в виде склонности к покровительству и расположению к музам, и только этим заслужил то, что умы стольких знаменитых поэтов должны были почтительно поставить его в число знаменитейших героев, какие когда-либо ходили по земле. Просвещенным и благородным сделали его собственное усердие и блеск, а не происхождение от королевских предков и не пребывание главным секретарем и советником Августа. Знаменитейшим сделало его то, что он стал достойным исполнения того, что было обещано поэтом, сказавшим:

Оба блаженны! Коль есть в моих песнях некая сила,
День не придет, чтоб о вас молва замолчала в преданьях, Будет
пока населять Капитолия камень недвижимый Дом Энея, а власть — за
Римским отцом пребывать.

Марикондо. Мне вспоминается, что говорит Сенека в письме, где приводит такие слова Эпикура к одному другу:

Если твою грудь обуревают любовь к славе, тогда мои сочинения сделают тебя более заметным и знаменитым, чем все другие дела, чтимые тобой, делающие тебе честь и которыми ты можешь гордиться.

Подобное мог бы сказать Гомер, если бы перед ним предстали Ахилл или Одиссей, а Вергилий мог бы сказать Энею и его потомству, ибо правильно отмечает тот же философ-моралист:

Доменеас более известен благодаря письму Эпикура, чем все вельможи, сатрапы и короли, от которых зависел титул Доменеаса и память о которых уничтожена глубокой тьмой забвенья. Аттикус жив не оттого, что был зятем Агриппы и мужем внучки Тиберия, но благодаря письму Туллия; Друз, правнук Цезаря, не находился бы в

ряду столь великих имен, если бы его не вписал туда Цицерон. Увы, кто из них мог бы удержаться над пучиной времен, над которой не многие умы поднимают головы.

Но возвратимся к рассуждениям Энтузиаста, который, видя Феникса, горящего на солнце, вспоминает о собственных усилиях и жалуется, что ему, как и Фениксу, от получаемого света и огня остается темный и теплый дым похвал за жертвоприношение своею расплавившейся суб-станциею. Так как нам не дано не только рассуждать, но даже и мыслить о божественных делах, чью славу мы скорее могли бы лишь уменьшить, а не увеличить, то самое большее, что можно сделать по отношению к ним, это совершить так, чтобы человек в присутствии других людей скорее возвеличил бы себя при помощи своего усилия и горения, чем дал себе блеск и прочее посредством какого-нибудь содеянного и завершенного деяния. Ведь последнего нельзя ждать там, где совершается прогресс без конца, где единство и бесконечность являются одним и тем же и где они не могут быть исследованы никаким измерителем, потому что они сами не единица, ни какой-либо другой единицей, потому что она — не измеритель, ни иным каким-нибудь числом и единицей, потому что и они тоже не абсолютны и не бесконечны. Об этом хорошо сказал некий теолог, что поскольку источником света являются не одни лишь наши умственные способности, но равно и стоящие далеко впереди божественные силы, то и следует этот свет почитать не речами и словами, а молчанием.

Чезарино. Но не молчанием грубых и прочих животных, в образе и подобии человека, а тех, чье молчание ярче, чем все крики, шумы и грохоты, какие только может воспринять слух.

Марикондо. Однако идемте дальше и посмотрим, что значит остальное.

Чезарино. Скажите, видали ли вы и думали ли раньше о значении этого изображения огня в виде сердца с четырьмя крыльями, из которых два имеют глаза, а все в целом окружено светящимися лучами и обведено надписью с вопросом: Не напрасно ли стремимся?

Мариконд о. Я вспоминаю, что это означает состояние мысли, сердца, духа и очей Энтузиаста. Но прочитаем стихотворение:

Ту мысль, которую манит сиянье,
 Мне и упорством не дано явить;
 Труд тщетно хочет сердце оживить, —
 Оно от бед уйти не в состоянье.
 Дух должен отказать себе в желанье
 Хотя б мгновенной радостью пожить;
 Глаза, что должен был бы сон смежить,
 Всю ночь раскрыты в плаче и страданье.
 О светочи мои! Как мне найти
 Истерзанной душе успокоенье?
 Мой дух, когда и на каком пути
 Смогу смягчить твоё изнеможенье?
 Какую, сердце, плату мне найти
 Тебе за неизбывное мученье?
 Когда ж в вознагражденье
 Пошлет душа тебе, страдалец-ум,
 Слезами, сердцем, всею силой дум?

Так как мысль устремляется к божественному сиянию, то она избегает общения с толпой, отходит от общепринятых мнений; она, говорю я, не только и не столько отдаляется от массы людей, сколько от общности их усилий, мнений и высказываний. Ведь опасность перенять пороки и невежество тем больше, чем больше народу, с которым вступаешь в общение. На публичных зрелищах, — говорит философ-моралист, — пороки усваиваются легче посредством удовольствия. Если ты стремишься к высокому сиянию, то замкнись, насколько можешь, в одиночестве, соберись, насколько можешь, в себе самом так, чтобы не быть подобным многим, поскольку они — многие; и не будь врагом многих из-за Того, что они не подобны тебе; если можно, используй то и другое благо; в противном случае — придерживайся того, что тебе кажется лучшим.

Пусть общается Энтузиаст с теми, которых он может сделать лучшими или от которых может сам стать лучшим благодаря сиянию, которое он может дать им или которое может получить от них. Пусть довольствуется лучше одним способным, чем массой негодных. И пусть не считает, что приобрел мало, когда достиг того, что стал

мудрым благодаря самому себе; пусть вспомнит сказанное Демокритомі: Единый для меня вместо народа, а народ вместо единого, а равно то, что написал Эпикур некоему товарищу по занятиям: Это тебе, а не многим; ведь довольно много, когда мы один для другого — театр.

Итак, мысль, которая стремится к высокому, прежде всего покидает заботу о толпе, принимая во внимание, что светоч) пренебрегает усталостью и обретается лишь там, где есть истинное понимание, а не там, где имеется любое понимание, истинное же понимание то, которое является у немногих, главных и первых, и само является первым, главным и единственным.

Чезарино. Что вы имеете в виду, говоря, что разум стремится к высокому сиянью? Значит ли это: все время глядя на звезды? на небеса? выше хрустальной сферы?

Марикондо. Конечно, нет! Но, проникаясь в самую глубь разума, для которого отнюдь не будет величайшим таинством уставить очеса в небеса, воздеть вверх руки, направить в храм стопы, наострить уши так, чтобы больше было слышно, нужно иное: уйти вглубь себя, имея в виду, что бог настолько близок с тобою внутри тебя, насколько это только возможно, как душа души, жизнь жизни, сущность сущности. Прими затем во внимание, что то, что ты видишь высоко, или низко, или вокруг (вырази как угодно) звезд, суть тела, творения, подобные этому шару, на коем мы находимся, и божество присутствует на них не больше и не меньше, чем на нашем шаре или в нас самих. Вот, значит, что нужно прежде всего делать, чтобы уйти от массы в самого себя.

Затем ты должен научиться пренебрегать всякой усталостью, презирать ее, и, если страсти и пороки борются с тобой изнутри, а порочные враги противостоят тебе извне, ты тем более должен, собравшись с духом, восстать и единым порывом (если можешь) одолеть эту холмистую гору. Для этого не нужно никакого другого оружия и щита, кроме величия непобедимой души и терпения духа, поддерживающих ровность и полноту жизни, происходящую от познания и управляемую искусством созерцать возвышенные и низкие вещи, божественные и человеческие. В этом и заключается высшее благо. О нем философ-моралист писал Луцилию, что не нужно лавировать между Сциллой и Харибдой, проникать в пустынные местности Скандинавии и Апеннин и забираться за Сырты, потому что

путь настолько — надежен и приятен, насколько может создать его сама природа. Не золото и серебро, говорит он, делают подобным богу, потому что он не делает сокровищ; и не одежды, потому что бог наг; и не чванство и слава, так как он являлся самому малому числу людей, и, быть может, никто его не знал, равно как нет сомнения в том, что многие, и даже больше чем многие, имеют о нем дурное мнение; и не те или иные материальные условия, которыми мы обычно любимся, потому что не те вещи, которых желает масса, делают нас подлинно богатыми, а пренебрежение к ним.

Чезарино. Хорошо. А теперь скажи мне, может ли Энтузиаст успокоить чувства, смягчить томленья духа, возместить сердце за мученья и выполнить свои обязанности перед умом так, чтобы при всех его стремлениях и усилиях не пришлось сказать: Не напрасно ли стремимся?

Марикондо. Надо лишь настолько пребывать в теле, чтобы лучшей своею частью отсутствовать в нем, делать себя как бы неразрывно и свято соединенным и сплетенным с божественными делами в такой степени, чтобы не чувствовать ни любви, ни ненависти к смертным делам и считать свое главное бытие чем-то большим, нежели пребывание слугой и рабом тела, на которое следует смотреть как на темницу, где находится в заключении свобода, как на клей, от которого слиплись перья, как на цепь, держащую связанными руки, как на колодки, сделавшие неподвижными ноги, как на вуаль, затуманивающую взор. А между тем вопреки всему этому ты не слуга, не пленник, не опутанный, не скованный, не бездействующий, не косный и не слепой, потому что тело может тиранствовать над ним лишь в той мере, в какой ты сам это допускаешь: ведь дух настолько же впереди тела, насколько мир телесный и материальный подчинен божеству и природе. Так-то ты делаешься сильным против судьбы, великодушным против оскорблений и неустрашимым против бедности, болезней и преследований.

Чезарино. Хорошо закален героический Энтузиаст!

Чезарино. Теперь рассмотрим, что следует дальше. Вот колесо времени, движущееся вокруг собственного центра, и подпись: Движусь, оставаясь на месте. Что, по-вашему, подразумевается под этим?

Марикондо. Это значит, что движение происходит в круге, где движение совпадает с покоем, имея в виду, что вращение вокруг своей оси и своего центра включает покой и неподвижность прямолинейного движения, или же покой целого и движение частей, а в частях, движущихся по окружности, воспринимаются два различия в движении, поскольку одни части последовательно поднимаются к вершине, другие спускаются с вершины книзу, одни доходят до средних дистанций, другие же достигают крайностей высоты и спуска. Все это, представляется мне, удобно выразить именно так, как это сделано в следующем стихотворении:

[45]

Что в сердце раскрываю иль таю,
Льнет к красоте, но скромность отдаляет;
Я тверд, но вдруг чужое увлекает
И к ложной цели душу мчит мою.
Хочу ль бежать от муки к забытию,—
Чужая скорбь отвлечься мне мешает;
Взнесет любовь ли, — робость низвергает,
Чуть к высшему приближусь бытию.
Высоки мысли, яростно желанье
Добра в уме, и в сердце, и в труде;
С бессмертьем», с бесконечностью слиянье
Да будет мной обретено везде,
Чтоб разум мой, и чувства, и сознание
Избегли распрей на благой чреде.
Хоть мне твердят о мзде:
«Раз он глядит на солнце непреклонно,
Пусть мучится, соперник Эндимьона!»

Как постоянное движение одной части предполагает и влечет за собой движение целого и как от толчка предыдущих частей следует рывок частей последующих, так побуждение высших частей неизбежно отзывается на низших и от подъема одной силы следует снижение противолежащей ей другой. Отсюда и идет сердце (означающее все страсти вообще), скрытое и открытое, сдерживаемое старанием, поднимаемое великолепной мыслью, усиливаемое

надеждой, ослабляемое страхом. И при таком состоянии и условиях всегда будет видно, что люди подвластны судьбе рожденных.

Чезарино. Все это хорошо. Переходим к следующему. Я вижу корабль, качающийся на волнах, прикрепленный веревками к берегу. Тут же надпись: Качается в порту. Следует подумать, что это может означать, а если это уже установлено, тогда объясните!

Марикондо. И изображение и надпись имеют некоторое родство с предыдущими надписью и изображением), как это можно легко понять, если немного подумать. Однако прочитаем стихи:

[46]

Когда герои, боги и народы
Крепят меня надеждою моею,
И страх, и боль, и грозные невзгоды,
И смерть, и плоть, и натиски страстей —
Ничто, коль ввысь мной выстраданы ходы
И ясны мне тропы моих путей,—
Сотрет сомнений и печалей годы
Улада радостных и светлых дней.
Но мыслями, желаньями своими
Когда б на деле увлекался я —
Хоть пылкими, но зыбкими, пустыми,—
Приятных бредней, слав и слав струя
Без дум, без дел была б с полуживыми,
Родясь, прожив, почив — в стенах жилья.
Надежда где моя?
Блеснула бы, зажгла и охватила,—
Тогда б со мною — счастье, слава, сила!

Из рассмотренного и сказанного нами в предыдущих речах можно понять чувство, которое наиболее ясно показывает, что значение низких дел уменьшается и отпадает там, где более высокие силы отважно «направлены на более яркие и героические объекты. И сила созерцания» такова (по замечанию Ямвлиха), что иной раз случается, что не только душа освобождается от более низких действий, но даже в самом деле покидает тело. Это я понимаю только в тех формах, которые объяснены в книге «О тридцати печатях». Там установлен ряд способов сдержанности; из них одни недостойно, а другие героически

действуют так, что уже не воспринимаешь боязни смерти, не переживаешь боли тела, не испытываешь нужды в чувственных удовольствиях; и от этого надежда, радость и чары высшего духа обретают такую устремленность, что погашают все страдания, которые могли бы произойти от какого-либо сомнения, горя и печали.

Чезарино. Но что такое есть то, ради чего требуется, чтобы поэт стремился к мыслям, называемым им самим столь сомнительными, пустыми, осуществлял бы свои желания, называемые им же такими пылкими, и слушал бы свои доводы, называемые им такими зыбкими?

Марикондо. Он имеет в виду объект, рассматриваемый им в то время, когда этот объект находится перед ним; ведь видеть божество — значит быть видимым им» как видеть солнце означает вместе с тем и то, что ты ему виден. Подобным) же образом быть услышанным божеством — значит, вместе с тем), слушать его и пользоваться его покровительством, то есть стоять перед ним. Следовательно, из одной и той же неподвижной мысли происходят мысли неопределенные и определенные, желания пылкие и удовлетворяемые, доводы выслушиваемые и отвергаемые, соответственно тому, как человек будет — достойно или же недостойно — стоять перед ним: с разумностью ли и с уважением ли в действиях. Ведь одного и того же кормчего считают причиной либо потопления, либо же благополучия корабля, поскольку он на нем находился или же отсутствовал, за исключением того случая, когда кормчий собственными своими недостатками или же достоинствами губит или спасает корабль; но божественная сила, которая есть все во всем или предоставляет, или устраняет себя только путем обращения к ней другой силы, или же путем отклонения ее последнею.

Марикондо. Мне кажется, что у этого рисунка есть связь и продолжение в следующем, где изображены две звезды в виде двух лучезарных глаз, и тут же стоит девиз: Смерть и жизнь.

Чезарино. А ну-ка прочтите стихи!

Марикондо. Сейчас прочту:

Вглядись: Амур в черты мои вписал
 Всю повесть бедственных моих терзаний;
 Но нет его гордыне обузданий, —
 Богиня, я страдаю, как страдал.
 За красотою век, достойных хвал,
 Ты скрыл лучи, которых нет желанней,
 Задернул небо мраком плотных тканей,
 Одни лишь тени шлешь за валом) вал.
 Моей любви безмерная тревога,
 Быть может, красоте твоей равна.
 Божественная», сжался, ради бога,
 Не для тех мук, что я испил до дна!
 Пускай твой блеск не жжет меня так строго,
 Мне кара слишком горькая дана;
 И если жизнь моя нужна,
 Мне милостивый взор раскрой широко;
 А если смерть — пронзи мне оком око!

Здесь лицом, отражающим) историю его страданий, является душа, поскольку она готова к восприятию высших даров, в отношении которых она обладает возможностью и готовностью, но лишена полноты совершенства и действия и ждет божественной росы. Поэтому хорошо было сказано: Душа моя стремится к тебе, как земля, жаждущая влаги. И в другом месте: Открываю уста мои и вздыхаю: ибо заповедей твоих жажду. Затем»: о гордыне, которая не обуздана, сказано метафорически, по аналогии (как иногда говорят о боге: ревность его, гнев, сон); ею обозначается трудность, которую она создает для желающих увидеть хотя бы ее плечи, то есть дать познать себя посредством последующих дел и результатов. Так она закрывает светочи веками, не проясняет мутного неба человеческой мысли, не убирает прочь тени с загадок и подобий.

Кроме того, душа Энтузиаста (поскольку она не верит, что всего того, чего нет, не может быть) просит божественный свет, чтобы — ради его красоты, которая» не должна быть от всех скрытой (во всяком случае, соответственно способности того, кто на нее смотрит) и ради се [души] любви, которая, быть может, равна его красоте (равной она

считает красоту, поскольку может ее сделать для себя познаваемой), — чтобы он, божественный свет, поддался состраданию, то есть чтобы сделался постижимым, как те, которые из сопротивляющихся и уклоняющихся делаются ласковыми и благосклонными, и чтобы помянутый свет, не продлевая зла, происходящего из-за его отсутствия, и не позволяя, чтобы его блеск, который делает его столь взыскуемым, казался больше, чем ее любовь, к которой он приобщается, и чтобы он признавал, что все ее совершенства не только равны таковым его, но что они даже тождественны.

Наконец душа снова просит его, чтобы он чрезмерно не печалил ее лишениями, потому что он может убить ее светом» своих взглядов и ими же дать ей жизнь, а вместе с тем не осуждал бы ее на смерть тем, что эти желанные светочи скрыты веками.

Чезарино. Не хочет ли он сказать, что эта смерть влюбленных, происходящая от величайшей радости, называемой кабалистами смертью от лобзания, вместе с тем является вечной жизнью, которую человек может получить в обладание на это время, а в результате — навеки?

Марикондо. Именно так.

Чезарино. Пришло время рассмотреть следующий рисунок, сходный с ближайшими из предложенных выше и связанный с ними известной последовательностью. Здесь виден орел, устремляющийся, раскинув крылья, в небеса; однако я не знаю, как и насколько его задерживает вес камня», привязанного к его ноге. Следует девиз<: Ему препятствует неуверенность. А это несомненно означает массу, число, чернь сил души, для обозначения которой взята строка:

Делится так, в колебанье, народ на различные мнения.

Вся эта чернь в общем разделена на две партии, хотя наличествуют еще и другие, подчиненные тем двум, из которых одни приглашают к вершине ума и блеску справедливости, другие соблазняются, влекутся» и тяготеют некоторым образом к низу, к свинству чувственности и к удовлетворению природных желаний. Поэтому стихи и говорят:

Стремлюсь к добру — встречаю преткновенье;
 Уходит солнце, чуть лишь сблизусь с ним;
 Когда ж я с ним, то не с собой самим;
 Порву ль с собой — вкушаю с ним сближенье;
 За миг покоя — долгое мученье;
 Чуть встречу радость — уж тоской томим;
 Взгляну ль на небо — становлюсь слепым;
 Ищу ль богатство — чую оскуденье.
 Мне горько счастье, боль сладка — и вот,
 Идя ко дну, ум в небеса взлетает,
 Необходимость держит, цель ведет,
 Судьба гнетет, стремление ввысь бросает,
 Желанье шпорит, страх уздой берет,
 Тревога мчит, опасность замедляет.
 Цель, случай ли — кто знает? —
 Даст мир и принесет конец борьбе,
 Раз гонят здесь, а там зовут к себе?

Подъем происходит в душе от способности и толчка крыльев, то есть от интеллекта и интеллектуальной еоли, посредством которых она, естественно, настраивается и стремится к богу как высочайшему благу и первой истине, абсолютной доброте и красоте, так же, как каждое дело, естественно, имеет порыв, с одной стороны, назад, к своему началу, с другой — вперед, к своей цели и совершенству, о чем хорошо сказал Эмпедокл. Из этого изречения, кажется мне, можно сделать вывод, выраженный Ноланцем в следующем восьмистишии:

Пусть солнце вспять вернется, сделав круг,
 И вновь к истоку все лучи сойдутся,
 Вернется в землю данное землею,
 И мчатся к морю реки, что из моря,
 И волны душу обретут и волю
 Дышать, как почитаемые боги.
 Так мысли, что ко мне пришли от бога,
 Пусть вновь вернуться к божеству и к тайне.

Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на познанной истине, но все время будет идти вперед и дальше, к непознанной истине. Так, воля, которая устремляется к познанию, никогда, как видим, не удовлетворяется оконченным делом. Отсюда следует, что сущность души связывается только с одним пределом: с источником своей субстанции и целостности. Затем при помощи сил природы, которые ее отдают на милость и в управление материи, она идет к тому, чтобы связаться с нею и получить толчок к использованию и передаче кое-чего от своего совершенства низшим вещам, в силу того подобия, которое у нее есть с божеством; оно же, по благодати своей, сообщает себя, либо бесконечно производя, то есть сообщая бытие бесконечной вселенной и бесчисленным мирам в ней, либо сообщая себя конечному и производя только эту вот вселенную, доступную нашим глазам и обыденному разуму.

[Марикондо.] Раз в единой сущности души наличествуют два рода сил, согласно которым она направлена и на благо свое и на благо других, то отсюда следует, что она изображается с парой крыльев, посредством которых она обладает как силой и направлением к объекту первых, нематериальных сил, так и тяжестью, посредством которой она способна и действенна в направлении вторых объектов — материальных возможностей. Из этого вытекает, что в целом страсть Энтузиаста двойственна, разделена, мучительна и более склонна идти книзу, чем устремляться ввысь: ведь душа находится в среде низкой и враждебной и именно здесь получает далекую от своего более естественного местопребывания область, в которой силы ее уменьшены.

Чезарино. Ты думаешь, что эту трудность можно преодолеть?

Марикондо. Очень легко; однако начать в высшей степени трудно; и лишь поскольку умение созерцать становится все более и более плодотворным, это становится все легче и легче. Так же происходит и с высоколетающим: чем больше отрывается он от земли, тем больше имеет под собою воздуха, поддерживающего его, и, следовательно, менее обременен тяжестью. Таким образом, можно летать настолько высоко, чтобы без утомления рассекать воздух и не возвращаться вниз, хотя и кажется, что легче рассекать воздух невысоко от земли, чем высоко, ближе к другим звездам.

Чезарино. Так что, совершенствуясь в этом роде, приобретаешь все большую и большую легкость подъема вверх?

Марикондо. Именно. Поэтому Тансилло хорошо сказал:

Тем выше понесло меня волной,
Чем шире веял ветер надо мной,
И, дол презрев, я ввысь полет направил.

Всякие части тел и так называемые элементы чем ближе они к своему естественному месту, тем с большим порывом и силой устремляются туда, пока в конце (вольно или невольно) не достигают его. Итак, поскольку мы видим в частях тел собственно тела, то и должны умозаключить от вещей умственных к их собственным объектам, как к их собственным местам, отечествам и целям. Из этого легко можете понять смысл целого, обозначенного фигурой, изречением и стихами.

Чезарино. Отсюда выходит, что чем больше я соглашался бы с вами, тем больше мне казалось бы это излишним.

Чезарино. А теперь перед нами изображенные на щите две стрелы молний с надписью вокруг: Побеждает мгновенно.

Марикондо. Война продолжается в душе Энтузиаста, которая из-за большой близости к материи долго была слишком грубой и сопротивлявшейся проникновению в нее лучей божественного ума и вида божественной благодати; приведенная надпись означает, что покрытое алмазом сердце, то есть глубокое и неподдававшееся жару и проникновению чувство, отбрасывало удары, наносимые со всех сторон любовью. Этим хотят сказать, что сердце не чувствовало себя раненным язвами вечной жизни, о которых говорит «Песнь Песней» словами: Ранила ты сердце мое, избранница моя, ранила сердце мое. Раны эти не от железа и не от иной материи по их действию и силе нервов; это — стрелы или Дианы, или же Феба, то есть либо богини пустынного созерцания истины (именно такова Диана, которая представляет собой понимание второго разряда, приносящее блеск, получаемый от первого, чтобы сообщить его иным, лишенным более открытого видения), либо же стрелы от более начального божества, Аполлона, который не заимствованным, а собственным своим сиянием шлет во все стороны свои стрелы, то есть свои неисчислимые лучи, в таком количестве, сколько имеется всех видов вещей. А эти последние

суть показатели божественной доброты, познания, красоты и мудрости согласно различным порядкам понимания, долженствующим быть у любящих энтузиастов. Поэтому алмазный субъект не отражает от своей поверхности заимствованный свет, но, смягченный и побежденный жаром и светом, готов стать всем» в светлой субстанции, всем светом, со всем тем, что проникло между действием» и началом. Это происходит не сразу, не с началом зарождения, когда молодая душа бодро выходит, чтобы опьяниться Летой и пропитаться волнами забвения и смешения, когда поэтому дух еще пребывает в плену у тела и годен лишь для отправления растительных свойств; только мало-помалу, дозревая, он начинает действовать способностью чувствования, пока, наконец, через рациональную и дискурсивную способности не придет к более чистой интеллектуальности, что дает ему возможность проникнуть в мысль и более не чувствовать себя затуманенным испарениями того сока, который вследствие упражнения в созерцании не разложился в желудке, но уже должным образом переваривает пищу.

В этом расположении Энтузиаст пробыл шесть пятилетий, в течение которых не достиг такой чистоты сознания», чтобы сделать себя подходящим местопребыванием для редких качеств, которые, предлагая себя равно всем, стучали все время в двери сознания. Наконец Амур, который с разных сторон и неоднократно нападал на него почти напрасно (как солнце напрасно пытается освещать и согревать тех, кто находится в недрах земли и в темных глубинах), чтобы обосноваться в упоминаемых ниже святых лучах, то есть являя себя в двух умопостигаемых видах божественной красоты, которая лучом истины связала бы ум Энтузиаста, а лучом блага согрела бы его страсть, — Амур преодолевает материальные и чувственные силы, которые раньше должны были как будто господствовать, оставаясь (несмотря на совершенство его души) нетронутыми. Ведь эти светочи, делавшие данный интеллект просветителем и солнцем ум. а, могли бы легко войти — внутрь при помощи своих лучей: свет истины — через дверь силы интеллектуальной, свет доброты — через дверь силы стремления сердца, то есть они могли бы войти в субстанцию общего чувства. Это была та стрела с двойным зубцом, которая как бы была пущена рукой разгневанного воина, то есть летела скорее, действительно, горячее, чем раньше, когда в ней видно было больше

слабости и нерадивости. И вот, когда Энтузиаст впервые был так воспламенен и просвящен сознанием, настало то победное мгновение, о котором сказано: Побеждает мгновенно. Отсюда вам станет понятным смысл предлагаемого изображения, изречения и стихов:

[49]

Напор Амура крепко отражая,
Хоть вел он натиск всюду, много раз,
Держал я сердце твердым, как алмаз,
Своей сноровкой вражью побеждая.
Увы! Решила воля неземная
Впустить врага в святых лучах в свой час:
Сквозь свет моих незащищенных глаз
Он в сердце мне легко проник, сияя.
Из гневных рук врага тогда стрела
Своим двойным зубцом в меня попала,
Хоть сбить меня шесть люстр не могла;
Наметив цель, она виилась, как жало,
В тайник души и плотно залегла,
Пробив трофей свой там, где надлежало.
С тех пор не затихало
Жужжанье стрел, что полный шлет колчан:
Мой нежный враг всё множит боли ран.

Единым мгновением) было начало и завершение победы; единственными видами близнецов были те, которые только одни из всех нашли легкий вход, так как они заключали в себе действительность и силу всех прочих, потому что эта форма любви лучше и превосходнее могла представить себя, чем форма красоты, блага и истины, являясь источником всякой иной истины, блага, красоты. Нацелившись на то место, Амур взял во владение чувство, заметил его, запечатлел его особенность в себе и впился, как жало, утвердился там, устроился, узаконил себя настолько, что уже не может потерять это; вот почему невозможно, чтобы кто-либо мог отвернуться и полюбить нечто иное, поскольку он понял концепцию божественной красоты; равно невозможно, чтобы он мог продолжать не любить ее, как невозможно, чтобы он желал чего-либо иного, а не блага и ие вида блага. Поэтому-то он должен совершенно согласиться со

стремлением» к высшему благу. Так ограничены страдания, которые должны быть преходящими, соответствуя весу материи внизу, потому-то никогда не прекращают ранить, будя страсть и понукая мысль, эти сладкие гнев, в которых проявляют себя атаки врага, так долго пребывавшего вонне чужим и посторонним. Теперь он единственный и полный владетель, располагающий душой Энтузиаста, так как она не хочет и не желает хотеть ничего иного и ей не любо и не желанно, чтобы нравилось что-либо иное; вот отчего часто говорится:

Сладкие гнев, сладкая битва, сладкие стрелы, Сладкие раны мои, сладкие горести.

Чезарино. Думается, что здесь уже не осталось ничего больше, что надо было бы рассматривать. Взгляни теперь на этот колчан и лук Амура со стрелами вокруг и на бант с надписью: Вдруг, тайно.

Марикондо. Я хорошо помню, что видел «а этот сюжет стихи. Прочтем их сначала:

[50]

Орел, стремясь за пищей вожденной,
Расправив крылья, к небесам летит,
А у зверей уже настороженный вид,
Как только взмлет в третий раз надменный.
И если лев, внушая страх священный,
Из недр пещеры грозно зарычит, —
Беду предвидя, каждый зверь бежит
В свою нору, голодный, «о смиренный.
Когда перед китом средь волн плывет
Безмолвная добыча, рыба стая,
Он ввысь вздымает буйный водомет.
Орел, иль кит, иль лев, подстерегая,
Врасплох свою добычу не возьмет,
И лишь Любовь всех ловит, настигая.
Так я, ее приход
Хочу поторопить хоть на мгновенье:
Любви злочастной длительно томленье!

Есть три области жизни, состоящие из многих элементов: земля, вода, воздух. В них водятся три вида животных: звери, рыбы и птицы. В среде этих трех видов существуют властители, поставленные для этого и определенные природой: в воздухе — орлы, на земле — львы, в воде — киты, и каждый из этих видов, с одной стороны, обнаруживает большую силу и власть, чем другие, а с другой — открыто выражает черту величия души или подобие этого величия. Так, замечено, что лев, прежде чем выйти на охоту, испускает грозное рычание, которое заставляет насторожиться весь лес, как говорит поэтическое выражение об эриннийской охотнице:

Злобная с вышки, меж тем для зла видя время, богиня Входит на кровлю крутую конюшни, из самой верхушки Сбора пастушеский знак подает и согнутым рогом Тартарский глас испускает, от коего целая тотчас Роща вострепетала и взвыли глубокие пущи.

Об орле же известно, что, желая предупредить о своей охоте, он сначала поднимается из гнезда перпендикулярно вверх и обычно только в третий раз бросается сверху вниз с большим порывом и быстротой, чем если бы летел горизонтально; при этом, прежде чем наступит то мгновение, когда он отыщет преимущество в скорости полета, он пользуется еще и выгодами осмотра издали той добычи, на которую уже было потерял надежду или же решился напасть после трех прицелов.

Чезарино. Можно ли выставить предположение, почему, если даже его глазам видна добыча сразу, он не бросается на нее сверху тотчас же?

Марикондо. Не обязательно! Но возможно, что он пристально присматривается, не представится ли ему лучшая или более подходящая добыча. Кроме того, не думаю, что так происходит всегда; это бывает лишь обычно. Однако вернемся к нашей теме. Что касается кита, вопрос ясен: будучи огромным животным), он не может плыть, не выдавая своего присутствия, ибо он оставляет за собой волны; кроме того, существует множество видов рыб, которые своими движениями и дыханием поднимают бурные взлеты водяных брызг. Итак, все три вида главных животных дают возможность более низким животным заблаговременно бежать. Значит, главные животные не ведут себя, как хитрецы и предатели. Амур же, еще более сильный и крупный, обладающий высшим) господством на небе, на земле и на

море и который, подобно вышеназванным животным, должен был бы показать тем больше великодушия, чем больше у него есть силы, тем не менее нападает и ранит неожиданно и внезапно.

Страсть проникает внутрь, в глубину суставов,
Все опустошит тайный пламень жилы,
Рану мальчик вширь не наносит вовсе,
Но она мозги пожирает тайно,
Пламенем сердца дев, им не знакомым,
Пожирает вдруг...

Как видите, трагический поэт называет Амура огнем тайным, неведомым пламенем; Соломон зовет его крадущимися волнами; Самуил говорит о нем: веяние тихого ветра. Все трое указывают, с какой сладостью, мягкостью и лукавством на море, на земле и на небе он выходит, чтобы тиранствовать во вселенной.

Чезарино. Нет сильнее владычества, нет худшей тирании, нет лучшего господства, нет более необходимой власти, нет вещи слаще и нежней, не найти более жестокой и горькой пищи, не увидеть более жестокого божества, нет более приятного бога, нет более предательского и лицемерного деятеля, нет более царственного и верного творца, чем Амур, и, чтобы договорить до конца, мне кажется, что он есть все и делает все, что о нем можно сказать все и все можно считать ему свойственным.

Марикондо. Вы говорите очень хорошо! В самом деле, Амур как существо, действующее преимущественно при помощи зрения, которое является наиболее духовным из всех чувств, потому что оно вдруг поднимается до охвата пределов мира и, не теряя времени, переносит на все горизонты видимости, приходит и внедряется быстро, скрытно, внезапно и вдруг. Надо принять также во внимание высказывания древних, что Амур предшествует всем прочим богам; поэтому нет необходимости выдумывать, что Сатурн указывает ему путь, лишь следуя за ним. Затем» не к чему искать, появляется ли Амур и дает ли себя увидеть вовне, если его жилищем является сама душа, его ложем — само сердце, а сам он находится в составе нашей субстанции, в самом толчке наших сил. Наконец все, естественно, жаждет прекрасного и хорошего, и поэтому нет нужды рассуждать и

спорить, почему страсть познает себя и утверждает и вдруг, в один миг, желание соединяется с желанным, как зрение со зримым.

Чезарино. Теперь взглянем, что должна выражать эта горящая стрела, вокруг которой имеется изречение: В каком месте нанесет новую рану? Объясните, какого места ищет стрела, чтобы ранить?

Марикондо. Нужно лишь прочесть стихотворение, в котором сказано следующее:

[51]

Апулия иль Ливия! средь лета
Ветрам такие всходы отдает,
Такой лучистый зной на землю льет
Вокруг себя великая планета,
В каком средь мук душа живая эта
В веселье боль, а в боли радость пьет.
Ей две звезды льют жгучий свет с высот,
Но ум и чувства давит гнет запрета.
Не дли же пыток, ворог нежный мой!
Зачем, Амур, удваиваешь рвенье?
Ведь сердце стало раною сплошной.
Уж места нет, куда б ты мог раненье
Мне нанести, — пронзи ж меня стрелой,
Иль ей придай иное направленье!
Оставь со мной боренье, —
Неправ и тщетен пыл затей твоих:
Убить того, кого уж нет в живых.

Весь смысл здесь метафоричен, как и в других местах, и понять его можно через осознание. Множество стрел, ранивших и ранящих сердце, означает здесь бесчисленность индивидуумов и видов вещей, в которых отражается блеск божественной красоты, откуда, в соответствии со ступенями ее, Энтузиаста согревает страсть к цели и восприятию блага. То и другое из них, при помощи лучей силы и действия, возможности и результата, мучают и утешают, дают ощущение сладости и заставляют почувствовать горечь. Но там, где вся страсть обращена к богу, то есть к идее идей, и от света умопостигаемых вещей возвышается мыслью к сверхъестественному единству, там она есть вся любовь, все единство, там- она не чувствует

в себе притяжения к разным предметам, которые ее отвлекали бы, но у нее одна лишь рана, — в которой соединена вся страсть и которая становится своею собственной страстью. Тогда нет любви или желания частной вещи, которая могла бы возбуждать влечение или по крайней мере ставить себя перед волей, потому что нет ничего более правильного, чем право, более прекрасного, чем красота, нет ничего лучшего, чем благо, нет ничего более крупного, чем величие, ни более светлого, чем тот свет, который своим присутствием затемняет и заглушает все прочие светы.

Чезарино. Нет ничего, что можно было бы прибавить к совершенному, если оно совершенно; поэтому воля неспособна к другому влечению, когда перед ней стоит то, что совершенно, превыше всего и больше всего. Теперь можно понять тот вывод, где Амуру говорят: не трать здесь даром своих попыток, потому что если и не напрасны (говорится ради некоторого подобия и метафоры), то несправедливы попытки убивать тою, кто мертв, то есть того, у кого нет больше — ни жизни, ни ощущения других предметов, то есть нет и тех, которыми его можно было бы ранить или подвергнуть другим видам мучений. И эта жалоба падает на долю того, кто, чувствуя влечение к высшему единству, хотел бы избавиться от всего и отвлечь себя от толпы.

Марикондо. Вы толкуете очень хорошо.

Чезарино. А вот тут рядом изображен мальчик в лодке, которого вот-вот поглотят бурные волны; утомленный и подавленный, он уронил весла. Вокруг — изречение: Нельзя доверять поверхности. Это несомненно означает, что ясная гладь воды возбудила в нем желание погрести веслами по неверному морю, которое внезапно изменило вид; крайний, смертельный страх, невозможность справиться с порывом ветра заставили мальчика потерять голову и надежду и опустить руки. Однако взглянем на остальное.

Ты, милый мальчик, отвязав причало,
 На малой лодочке, с худым веслом,
 Пустился в море, опытен так мало,
 И вдруг узнал о бедствии своем;
 Глядишь: волна предательская встала,
 Челн то взлетит, то рухнет под толчком, —
 Твоя душа в борьбе изнемогала,
 Когда каприз волны играл челном.
 И, вот ты сдал весло враждебной силе, —
 Почти без мыслей смерти ожидая,
 Закрыв глаза, чтоб не видать ее;
 Те, кто бы мог помочь, не поспешили...
 Мгновенье — и стихия ломит злая
 Сопровиление детское твое.
 Как и тебе, мне бытие
 Невмоготу: в Амуре мне не в новость
 Великого предательства суровость.

Каким образом и почему Амур — предатель и обманщик, — мы раньше еще мало видели. Но так как идет следующее стихотворение, без рисунка и изречения, то я полагаю, что оно связано последовательностью с предыдущим; поэтому продолжим наше чтение:

На время кинув гавань и желая
 От важных дел немного отойти,
 Смотря вокруг, беспечно отдыхая,
 Я вдруг злой рок приметил на пути.
 На мирном берегу чужого края, —
 Мне, бесполезный светоч, не свети!
 Опоры не дает рука благая,
 А самому беды не отвести.
 Спасенья нет! И вот, изнемогая,
 Сдаюсь судьбе, не чувствуя» влечения
 Вступить с свирепой смертью в тщетный бой.
 Да и зачемі нужна мне жизнь другая?
 Зачем бежать последнего мученья,
 Назначенного злобною судьбой?
 Так боль мою собой
 Являет тот, кто слепо дружба ложной
 Вверяет жизнь, юнец неосторожный.

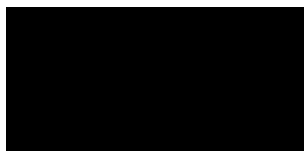
[Марикондо.] Я не убежден, что смогу понять и определить все, отмеченное Энтузиастом. Все же очень выразительно, с одной стороны, странное состояние духа, лишённого понимания трудности дела, величия напряжения, обширности работ, а с другой — невежество, недостаток умения, слабость нервов и опасность смерти. Дух не имеет совета, нужного в этом деле, не знает, откуда и куда должен обращаться, не видит места для побега или убежища, поскольку видит, что со всех сторон ему угрожают волны ужасного смертного порыва. «Тому, кто не знает, где его гавань, никакой ветер не поможет». Взгляни на того, кто, многократно и чрезмерно отдаваясь делам случайным, создает себе потрясения, тюрьмы, разрушения, потоп. Взгляни, как судьба играет нами: то, что она милостиво дает нам: в руки, она либо сама ломает, выбывая из тех же рук, либо делает, чтобы оно было отнято чужим насилием, либо заставляет нас задохнуться или отравиться, либо беспокоит нас подозрительностью, боязью и ревностью к большому вреду и гибели обладателя. «Что печалит тебя? потеря ли того, что имеешь, или же возможность лишиться того, что могло бы быть у тебя?» Почему крепость, которая

не может выдержать испытания, падает и великодушие, которое не может победить, ничтожно, равно как тщетно усилие без плода? Посмотри на результаты боязни зла, — они хуже самого зла! Страх смерти хуже, чем сама смерть. Ведь от страха страдает всякий, кто боится страдать: ужас в членах, тупость в нервах, трепет в теле, беспокойство духа и представление того, что еще не дошло, — несомненно хуже того, что может случиться затем-. Что может быть глупее, чем мучиться из-за отсутствующего будущего, присутствие которого еще и не чувствуется?

Чезарино. Эти соображения поверхностны и относятся к истории образа. Но относительно героического Энтузиаста я думаю, что он имеет в виду слабость человеческого ума, который, будучи внимателен к божественным делам, иногда вдруг неосторожно попадает в пучину непостижимого для него превосходства; поэтому сознание и воображение становятся такими смутными и поглощенными, что, не умея ни пройти вперед, ни вернуться назад, ни своротить, они выдыхаются и теряют свое бытие, как капля воды, исчезающая в море, или легкий вздох, который угасает, теряя свою сущность в безмерном воздушном пространстве.

Марикондо. Пусть так! Однако пойдемте продолжать беседу об этом в комнату, так как уже наступила ночь.

Конец первого диалога



Диалог второй

Собеседники:

Марикондо

и

Чезарино

Марикондо. Здесь вы видите ярмо, объятые пламенем и окруженное путами, с надписью вокруг: Легче вздоха. Это должно означать, что божественная любовь не отягчает, не тянет своего раба, пленника и слугу вниз, в пропасть, но поднимает его, возвышает и украшает лучше всякой свободы.

Чезарино. Пожалуйста, прочтем, не откладывая, стихи, потому что таким способом мы сможем быстрее и упорядоченнее вдуматься в их смысл, если даже в них и нет чего-либо особенного.

Марикондо. В них говорится:

Ту, кем к высокой страсти мысль моя
 Вознесена, в сравнение с кем обманна
 Любая прелесть, в ком с красой слиянна
 Вся благодать, единения не тая, —
 Ее средь нимф у леса встретил я:
 Охотилась за мной моя Диана;
 Кампанский воздух плыл благоуханно...
 «Ей отдаюсь!» — Амуру молвил я.
 А он в ответ: «Как счастлив ты, влюбленный!
 Судьбы прекрасной спутница благая
 К избраннику пребудет благосклонной;
 Мир прелестью священной украшая,
 И жизнь и смерть ее вмещает лоно, —
 Иди же к ней, познание обретая!
 Она, в чертог любви вселяя,
 Счастливица-пленника так вознесет,
 Что в нем любая зависть отомрет».

Смотри, как поэт доволен таким ярмом, таким супружеством, таким бременем, подчинившим его той, которую он увидел выходящей из лесу, из пустыни, из чащи, то есть из мест, отдаленных от людских масс, от общества, от толпы и привлечших внимание у немногих. Диана, светоч умопостигаемых видов, является охотницей для себя самой, потому что своей красотой и грацией она сначала ранила Энтузиаста, а затем привязала к себе; она держит его в своей власти более довольным, чем это когда-либо могло быть иначе. О ней он говорит, что она — из числа прекрасных нимф, то есть из множества других видов, форм и идей, что она лучше воздуха Кампани; это значит, что у нее тот ум и тот дух, который проявился в Ноле, лежащем на равнине кругозора Кампании. Сдается он во власть той, которую больше, чем кого-либо, восхвалял из любви, и при посредстве которой желает быть настолько счастливым, насколько она, из всех являвшихся и неявлявшихся очам смертных, более высоко украшает мир и делает человека славным и прекрасным. Затем он говорит, что мысль его так стремится ввысь, к превосходной любви,

что он считает всякое другое божество, то есть заботу и почитание всякого иного вида, низким и пустым.

А тем, что он говорит о подъеме своей мысли к высокой любви, он подает пример такого возвышенного парения сердца посредством мыслей, усилий и деяний, какое только возможно, чтобы не задерживаться на вещах низких, стоящих ниже наших способностей; именно это бывает с теми, кто из жадности, или из небрежности, или же из-за других пустяков остается в течение короткого отрезка своей жизни привязанным к недостойным делам.

Чезарино. Нужно, чтобы на свете существовали ремесленники, механики, земледельцы, слуги, пехотинцы, простолюдины, бедняки, учителя и им подобные, иначе не могли бы быть философы, созерцатели, возделыватели душ, покровители, полководцы, люди благородные, знаменитые, богатые, мудрые и прочие подобные богам. Зачем же нам стремиться извратить порядок природы, который делит вселенную на большее и меньшее, высшее и низшее, светлое и темное, достойное и недостойное не только вне нас, но даже внутри нас, в самой нашей сущности, вплоть до той части субстанции, которая утверждает себя в качестве нематериальной; так в области умственной одни подчиняются, другие проявляют власть, одни служат и повинуются, другие командуют и управляют? Я полагаю, что не следует брать в пример такие желания как желание подданных занять более высокое место и стремление простых сравняться с благородными; это привело бы к такому извращению и смешению порядка вещей, что в конце концов на смену пришла бы некая середина и животное равенство, как это случается в некоторых заброшенных и некультурных государствах. А, кроме того, разве вы не видите, в какой упадок пришли науки по той причине, что школьные грамматикки захотели быть философами, рассуждать о делах природы, вмешиваться в определение божественных дел? Кто не видит, сколько зла произошло и еще произойдет из-за подобных фактов для возвышенной любви бодрствующих умов? Кто, обладая здравым смыслом, не видит пользы, принесенной Аристотелем в качестве учителя гуманитарных наук у Александра и когда он со всей силой направил свой дух на то, чтобы восстать и вести войну, против доктрин пифагорейцев и натурфилософов; когда же он пожелал своим логическим разумом составлять определения, понятия, какие-то

квинтэссенции и другие недоноски фантастического мышления относительно начал и субстанций вещей, то он проявил больше внимания к вере писательской толпы и глупой массы, ведомой скорее софизмами и внешностью, находящимися на поверхности вещей, чем истиной, которая скрыта в их субстанции и является субстанцией их самих. Он сделал свою мысль бодрствующей для того, чтобы стать не созерцателем, но судьей, выносящим суждения о вещах, которые он никогда не изучал и не хорошо понял. Так в наши времена в то небольшое хорошее, что он принес, — а именно: в учение об уме изобретательском, судящем и метафизическом, — деятельность других педантов, работающих с теми же «сердцами вверх», внесла новые диалектические приемы и модусы для составления суждений, и эти приемы настолько же ниже аристотелевых, насколько, быть может, философия Аристотеля неизмеримо ниже античной. Впрочем, это произошло оттого, что некоторые грамматики, одряхлевшие на кухнях школьников и занимавшиеся анатомированием фраз и слов, захотели взбодрить мысль, создавая новые логические и метафизические приемы, вынося приговоры и мнения о том, чего никогда не изучали и чего по сей день не понимают. Таким- образом, как это следует из сказанного, с помощью невежественной массы (к уму которой они более приспособлены) они могут так же погубить гуманитарные взгляды и логические приемы Аристотеля, как этот последний сделался мясником иных божественных философских учений. Итак, взгляни, на что может натолкнуть этот сонет, если все устремится к священному сиянию, тогда как сами погружены в низкие и пустые занятия.

Марикондо.

«Смейся, девушка, смейся, если умна ты», —
Так говорит, как будто, пелигнийский поэт.
Но не всем девицам говорил он это;
А если бы даже и всем он сказал девицам,
То тебе не сказал: ибо не девушка ты!

Таким образом, подъем «сердец вверх» не всем созвучен, но лишь тем, у кого есть крылья. Мы хорошо видим, что никогда педантство не представляло больше притязаний на управление миром, чем в наши времена; оно указывает столько путей к истинным умопостигаемым

видам и объектам единой непогрешимой истины, сколько существует таких педантов в отдельности. Поэтому в наше время благородные умы, вооруженные истиной и освещенные божественной мыслью, должны быть в высокой мере бдительны, чтобы взяться за оружие против темного невежества, поднимаясь на высокую скалу и возвышенную башню созерцания. Нужно принимать и всякие другие меры против низкого и пустого.

На легкие и пустые дела они не должны терять времени, быстрота которого бесконечна; ведь поражающе стремительно протекает настоящее и с той же скоростью приближается будущее. То, что прожито, — уже ничто; то, что переживаем сейчас, — мгновение; то, что будет пережито, — еще не мгновение, но может стать мгновением! которое одновременно будет становиться и преходить. А спустя некоторое время> кто-то сплетет себе воспоминания из генеалогии, другой направляет внимание на расшифровку писания, третий занимается умножением детских софизмов; взгляни, например, на книгу, полную таких вещей, как

Хор — группа поющих;

Овод — насекомое;

Хор + овод = группа поющих — насекомое.

Третий чирикает о том, что было раньше: имя существительное или глагол; четвертый — море или источники; пятый хочет восстановить устаревшие слова, которые, как бывшие когда-то в употреблении и предложенные одним античным автором, он снова превозносит до звезд; шестой уперся в неправильную и правильную орфографию; иные прочие стоят за какой-нибудь еще подобный же вздор и их более заслуженно презирают, чем понимают.

Здесь соблюдают посты, там изнуряют себя, тут заболевают чахоткой, там покрывают ржавчиной кожу; здесь отращивают бороду, там гниют; здесь ставят на якорь высшее благо; при помощи того презирают богатство, при помощи другого создают убежище и поднимают щит против ударов судьбы. С таким-и-то и подобными им низменными мыслями думают подняться до звезд, стать равными богам и понять прекрасное и благое, обещаемое философией.

Чезарино. Очень важно, конечно, что время, которого не может хватить нам на необходимое дело, как бы внимательно мы это время

ни берегли, большею частью затрачивается на вещи поверхностные, то есть низкие и постыдные.

Разве не следует смеяться над тем, что сделал достохвальный Архимед (а за ним и другие), когда в столице дела шли вверх дном, все было в развалинах, а он зажег огонь <в своей комнате, тогда как за его спиной в горнице были враги, от власти и произвола которых зависело погубить его искусство, мозг и жизнь. Он же, забыв о спасении жизни, отбросил эту цель для того, чтобы следить за соотношением кривой и прямой, диаметра и окружности и тому подобными вопросами, столько же достойными мальчика, сколько недостойными того, кто должен был бы, если бы мог, состариться на внимании к делам, более достойным стать целью человеческих усилий.

Марикондо. Относительно этого скажу, что мне нравится сказанное вами же несколько раньше, а именно: нужно, чтобы мир был полон всякого рода людьми и чтобы число несовершенных, грубых, бедных, недостойных и злодеев было побольше, а в заключение, что все не должно быть иначе, чем оно есть. Долгий возраст и старость Архимеда, Эвклида, Присциана, Доната и других, занимавшихся до самой смерти числами, линиями, фразами, совпадениями, писаниями, диалектами, формальными умозаключениями, методами, способами познания, органами и всякими введениями и вступлениями, были пригодны для обслуживания юношей и детей, которые могли выучить и воспринять должным образом плоды зрелости вышеназванных умов для насыщения ими в свои юные годы, с той целью, чтобы с наступлением зрелости стать без помех способными и готовыми к большим делам.

Чезарино. Я не отказываюсь от недавно выдвинутого мною положения, что целью одних, занимающихся наукой, является похищение славы и места у древних при помощи новых произведений, либо худших, либо не лучших тех, что уже сделаны раньше; другие тратят жизнь на соображения об улучшении козьей шерсти и ослиной тени; а иные же в течение всей жизни отдаются изучению, дабы стать опытными в тех знаниях, которые соответствуют потребностям юности, и они делают это большей частью без пользы для себя и для других.

Марикондо. Ну, мы достаточно поговорили о тех, кто не может и не должен мчаться бодрой мыслью к высокой страсти.

Перейдем теперь к рассмотрению добровольного пленения и приятного ига под властью названной Дианы, того ига, без которого душа бессильна подняться до высоты, с которой падают, потому что она делается более легкой и подвижной, а узы делают ее более находчивой и проворной.

Чезарино. Говорите дальше.

Марикондо. Чтобы продолжить и сделать по порядку выводы, приму во внимание, что все, живущее в том виде, как живет, должно каким-либо образом питаться, пастись. Однако умственной природе подходит только умственная пища, как телу — материальная, потому что пища принимается лишь ради того, чтобы войти в субстанцию питающегося. И так как тело не превращается в дух, а дух — в тело (потому что всякое превращение происходит, когда материя, которая была в одной форме, переходит в другую форму), то дух и тело не имеют общей материи в том смысле, чтобы подчиненное одному могло бы подчиниться другому.

Чезарино. Конечно, если бы душа питалась телом, она чувствовала бы себя лучше там, где имеется плодотворность материи (как аргументирует Ямвлих); поэтому, когда перед нами упитанное и большое тело, мы могли бы думать, что оно служит вместилищем души смелой, стойкой, скорой, героической, и можно было бы сказать: «О жирная душа, о плодовитый дух, о красивая изобретательность, о божественный ум, о знатная мысль, о благословенная возможность задать пир львам или банкет псам». Таким образом, старика, когда он кажется гнилым, немощным и слабосильным, пришлось бы считать за слабого умом, разумом и речью. Однако продолжайте.

Марикондо. Об умственной пище надо сказать, что ею может быть лишь то, чего ум сильно желает, ищет, принимает и вкушает охотнее, чем что-либо иное, в силу чего он наполняется, удовлетворяется, получает пользу и становится лучше, — а это и есть истина, о которой в любое время, во всяком возрасте и во всяком состоянии, в каком находится человек, он всегда мечтает, и при помощи которой презирает всякую усталость, выносит всякое усилие, не обращает внимания на тело и ненавидит эту жизнь. Так как истина есть дело бестелесное, и так как никакой истины, ни физической, ни метафизической, ни математической, нет в теле, то отсюда вы видите, что вечная человеческая субстанция не находится в индивидах,

которые рождаются и умирают. Специфическое единое, говорит Платон, а не численное множество составляет субстанцию вещей. Вот почему я называю идею единым и многим, устойчивым и подвижным, потому что, как вид нетленный, она есть вещь умопостигаемая и единая, а как сообщающаяся с материей и подверженная движению и зарождению — есть вещь чувственная и множественная. В этом втором модусе заключается не больше сущности, чем несущности, поскольку он всегда есть и то и другое и вечное проходит через частное. В первом же модусе наличествует сущность и истинное. Примите во внимание далее, что математики согласны с тем, что истинные фигуры не находятся в природных телах и не могут быть там ни в силу природы, ни искусственно. Знайте еще, что истина сверхъестественных субстанций пребывает над материей.

Итак, мы делаем заключение, что если кто ищет истинное, тот должен подняться выше мыслей о телесных вещах. Кроме того, надо иметь в виду, что все питающееся имеет некоторую мысль и природную память о своей пище и всегда (в особенности, когда в этом существует необходимость) имеет в наличии подобие и вид ее, тем более возвышенные, чем более высоким и славным является тот, кто стремится, и то, что ищется. Оттого, что каждая вещь имеет врожденное понимание тех вещей, которые связаны с сохранением индивида и вида и, кроме того, с целевым совершенствованием, от этого и зависит мастерство в отыскании своей пищи при помощи того или иного вида охоты.

Следовательно, мы согласны в том, что человеческая душа имеет свет, изобретательский ум и инструменты, годные ей для охоты.

Здесь помогает созерцание, тут приходит на помощь логика, самый подходящий орган для постижения- истины, чтобы различать, искать и судить.

Затем путь идет, бросая свет на лес вещей природы, где столько объектов иаются в тени и под покровом-м» и где, как в густом, глубоком и пустынном уединении, истина обычно пребывает в ямах и пещерных убежищах, заросших колючками, скрытых лесистыми, шершавыми и густолиственными растениями, куда с полным основанием то, что более достойно и превосходно, чаще всего укрывается, завуалируется и очень тщательно прячется, наподобие того, как обыкновенно мы скрываем главные сокровища, особенно

старательно и заботливо, чтобы их не могли без особого труда открыть толпы разных охотников (из которых одни более, а другие Менее искусны и опытны).

Тут приближается Пифагор, отыскивая истину при помощи отпечатлевающих в вещах природы следов и признаков, чисел, показывающих ее шествие, причины, модусы и действия в некоторых способах, потому что в исчислении единиц, размеров, времени или веса истина и бытие находятся во всех вещах.

Здесь подходят Анаксагор и Эмпедокл, которые, принимая во внимание, что всемогущее и всеродящее божество наполняет все, не находили ничего настолько малым, чтобы не считать, что под ним- не была скрыта истина со всеми основаниями, хотя они выдвигали всегда истину там, где она была преобладающей и выраженной в более великолепных и высоких основаниях.

Тут халдеи искали ее при помощи отрицания, не зная, что дело ее — утверждать, и производили они это без когтей демонстраций и силлогизмов, но лишь сиюсь углубить, снова передвигая, разбивая мотыгой, извлекая истину из чащи силою отрицания всех видов и предикатов, как доступных пониманию, так и тайных.

Здесь шел Платон, то переворачивая, то выкорчевывая, то воздвигая преграды; потому что виды преходящие и убегающие оставались точно в сетях и удерживались преградой определений, поскольку высшие вещи рассматривались в их участии и отраженности в вещах низших, а эти — в тех, но в большем достоинстве и превосходстве; тогда как истина считалась находящейся в тех и в других вещах, соответственно известной аналогии, порядку и ступенчатости, с какими низшее высшего порядка всегда сочетается с высшим низшего порядка. Таким-то образом существует прогресс от низшего в природе к высшему, как от зла к благу, от тьмы к свету, от чистой возможности к чистому действию через посредствующие.

Там хвалится Аристотель тем, что по отпечатлевшимся признакам! и следам он может добраться до желанной добычи, когда от следствий хочет довести себя до причин; тогда как в действительности он гораздо больше, много больше, чем все другие, занимавшиеся изучением такой охоты, ошибался на этом пути, почти не умея различать следы.

Здесь кое-какие теологи, вскормленные в некоторых сектах, ищут истину природы во всех специфических природных формах, в которых

усматривают вечную эссенцию и специфического субстанционального продолжателя вечного зарождения и превращения вещей, каковые формы называются богами-основателями и производителями, над которыми восседает форма форм, источник света, истина истин, бог богов, через коего все полно божественности, истины, сущности, блага. Эта истина является искомой как вещь недоступная, как объект, неспособный быть объективированным, а не только как непознанный. Поэтому никто не представляет себе возможности видеть солнце, всеобщего Аполлона и абсолютный свет, в виде высшем и превосходнейшем, но лишь его тень, его Диану, мир, вселенную, природу, имеющуюся в вещах, — свет, который есть в тусклости материи, то есть постольку, поскольку она блестит во тьме.

Итак, из числа тех многих, которые ходят как названными, так и иными путями по этому пустынному лесу, лишь очень немногие добираются до источника Дианы. Многие остаются довольными охотой на лесного и прочего малоценного зверя, большая же часть вовсе не умеет вести лов, обладая сетями, раздуваемыми ветром, и потому остается с руками, полными мух. А самые редкие, скажу я, это — Актеоны, которым: дана судьбой возможность созерцать Диану нагой и стать настолько очарованными прекрасным телосложением природы и настолько руководимыми теми двумя светочами-близнецами — сиянием божественного блага и красоты, — что они превращаются в оленя, так как становятся уже не охотниками, но преследуемой дичью. Поэтому в самом конце и в заключение этой охоты они приходят к обладанию той ускользающей и дикой добычей, из-за которой добытчик становится добычей, а охотник должен стать объектом охоты; поэтому во всех других видах охоты, которая ведется за частными объектами, охотнику удастся поймать себе разные вещи, поглощая Их устами собственного ума; но в охоте божественной и универсальной он развертывает такой охват, что и сам, по необходимости, становится охваченным, поглощенным, присоединенным. Поэтому из общедоступного, обычного, общегражданского и народного он становится лесным, как олень, или обитателем пустыни; он божественно живет под этим величием леса, живет в безыскусственных залах горных пещер, где любит истоками больших рек, где растет чистым и незапятнанным обычной жадностью, где более свободно общается с божеством, мечтая о

котором столько людей, желающих вкусить на земле небесную жизнь, говорят в один голос: Далеко удалился бы я и оставался б в пустыне. Так псы, мысли божественных дел, пожирают этого Актеона, делая его мертвым для черни, для массы, развязанным от уз- потрясенных чувств, свободным от плотской темницы материи; поэтому он более не видит свою Диану как бы через отверстия и окна, но видит стены поваленными на землю, а перед своими глазами — весь горизонт. Отсюда выходит, что на все он смотрит как на единое и перестает видеть при помощи различий и чисел, которые, соответственно разнообразию чувств, точно через разные щели, позволяли смутно видеть и воспринимать. Он видит Амфитриту, источник всех чисел, всех видов, всех рассуждений, которая есть монада, истинная сущность всего бытия; и если он не видит ее в ее сущности, в ее абсолютном свете, то видит в ее порождении, которое подобно ей и которое есть ее образ; ведь от монады, которая есть божество, происходит та монада, которая является природой, вселенной, миром, где она себя созерцает и отражается, как солнце в луне, и посредством которого она светит, когда находится в полушарии интеллектуальных субстанций. Это Диана, то одно, что есть то же самое существо, то существо, которое само истинно, то истинное, которое есть умопостигаемая природа, в которую вливается солнце и блеск высшей природы, согласно чему единство определяется как порожденное и порождающее, или производящее и производимое. Теперь вы сами можете сделать умозаключение о модусе, достоинстве и наиболее достойном успехе охотника и охоты. Поэтому-то Энтузиаст и хвалится, что он — добыча Дианы, которой сдается, считая себя предпочтенным ею супругом и самым счастливым пленником и подданным; он не станет завидовать ни другому человеку, который может иметь это лишь в такой же мере, ни иному божеству, имеющему это в том виде, какой нельзя получить от более низкой природы, и который, следовательно, не может ни нравиться, ни тем более вызвать желания.

Чезарино. Я хорошо понял, что вы сказали, и вы достаточно удовлетворили меня. Однако время возвращаться домой.

Марикондо. Согласен.

Конец, второго диалога



Диалог третий

Собеседники:

Либерิโอ

и

Лаодонио

Либерิโอ. Когда Энтузиаст отдыхал в тени кипариса и душа его была охвачена разными, сменявшимися мыслями, то — удивительное дело — сердце и глаза стали говорить между собой (как будто они были живыми существами с различными чувствами и мыслями), жалуясь друг на друга, как на причину тягостной муки, изнурявшей душу.

Лаодонио. Передайте мне, если вспомните, смысл и слова жалоб.

Либерิโอ. Разговор начат был сердцем, которое, заставив себя слушать, разразилось следующими словами:

Первый упрек Сердца Очам

[55]

Глаза мои, как мучит он меня,
Ваш пламень! И течет и обжигает.
Мне, смертному, не вынести огня,
Пусть даже на него стократ бросает
Всю влагу Океан и, леденя,
Созвездье Арктики его смиряет:
Не охладить палящие огни,
Не обрести мне отдыха в тени!
Я — пленник, заточенный
Рукой, что держит, не желав, меня.
Чрез вас я в плоти, я жив солнце дня.
Начало жизни — я, ее лишенный.
Так где же я? Кто я? —
Раб, узник той души, что не моя!

Лаодонио. Поистине, понимание, рассмотрение, знание есть то, что зажигает желание и, следовательно, сердце воспламеняется властью очей; и чем более высокий и достойный объект стоит перед глазами, тем сильнее огонь и живее пламя. Однако каким же должен быть тот вид, из-за которого сердце чувствует себя настолько воспламенившимся, что не надеется на возможность ни смягчить свое пылание самой холодной и самой медленной звездой арктического круга, ни ослабить жар влагой целого океана? Каким должно быть превосходство того объекта, который сделал сердце врагом собственного бытия, мятежником против своей души и вместе с тем довольным таким мятежом и враждебностью, хотя сердце было взято в плен рукой, пренебрегающей им и не желающей его? Я хотел бы услышать, ответили ли глаза и что именно они сказали.

Либерิโอ. Они, наоборот, жаловались на сердце, как на начало и причину многих пролитых слез. Они поэтому дали ответ такого содержания:

Первый упрек Очей Сердцу

[56]

С тебя, о сердце, больше вод струится,
Чем с Нереид, подъемлющих чела,
Чтоб в ясный день на солнце всплыть и скрыться;
Лишь Амфитрита вдаль помчаться могла
Двойной поток так широко, что, мнится,
В сравненье с ним покажется мала
Река, что весь Египет наводняет
И дважды семь потоков наполняет.
Два ярких светоча даны,
Чтоб править этим миром бренным.
Ты ж пренебрег порядком неизменным,
И светочи в ручьи превращены.
Что ж небо медлит возмутиться?
Ведь гибнет близкое, насилье длится!

Лаодонио. Конечно, воспламененное и пронзенное сердце вызвало слезы из глаз, поэтому как они зажгли пламя в нем, так и оно обагрило их влагою. Но меня удивляет такое сильное преувеличение, которое

говорит, что Нереиды не пропустят над головой столько воды, купаясь на восходе солнца, сколько могут излить влаги эти глаза. А также удивляет сравнение этих двух источников с океаном не потому, что они в самом деле изливают воду, но потому, что они якобы могут лить такие реки и столько рек, что при подсчете Нил показался бы малым потоком, разделенным на семь каналов.

Либериио. Не удивляйтесь столь сильному преувеличению, равно как этой возможности, лишенной действия; вы все поймете, когда узнаете итог их рассуждений. Однако сперва послушайте, как сердце отвечает на упреки глаз.

Лаодонио. Пожалуйста, дайте послушать!

Либериио.

Первый ответ Сердца Очам

[57]

Глаза! Бессмертный пламень есть во мне;
Я весь — огонь; он жарко пламенеет;
Все близ меня горит в моем огне,
Моим пожаром, вижу, небо рдеет.
Но вас не жжет мой пламень. Он извне
Вас тронуть лишь обратной силой смеет:
Не жаром, — влагой вас я обдаю...
Так что ж из двух являет суть мою?
Познайте ж вы, слепые,
Что побегут от пламеней моих
Два родника, источника живых,
Кому Вулкан даст части составные.
Не раз победой воин там
Венчает бой, где враг его упрямя!

Видишь, до какой степени сердце не могло убедить себя суметь из противоположности причины и начала вызвать силу противоположного действия; оно даже не хочет признать возможным способ действия посредством антиперистаза, что означает силу, которую приобретает противник от того, что при бегстве от другого у этого первого индивида соединяется, сужается, поглощается и

концентрируется своя сила, которая чем больше удаляется в расстоянии, тем больше приобретает в интенсивности.

Лаодонио, Скажите теперь, что сердцу ответили глаза.

Либериио.

Первый ответ Очей Сердцу

[58]

Ах, сердце, так ты страстью смущено,
Что к истине тропинку утеряло,
Все, что в нас видно, что утаено,
Все то — посев морей. Нам надлежало
Нептуну б дать прибежище одно,
Когда бы царство у него пропало.
Мы, близнецы, сродни ведь морю; но
Тогда огню как брать из нас начало?
Иль ты совсем с ума сошло,
Решив, что пламя через нас прорвется,
Чрез все ворота влаги пронесется,
Чтоб нас твоим огнем насквозь прожгло?
Иль, может быть, тебе сдается,
Твой блеск сквозь нас, как сквозь стекло, польется?

Я здесь не хочу философствовать по поводу совпадения противоположностей; это я исследовал в книге «Опричине, начале и едином»; я хочу допустить то, что обычно допускается, а именно, что противоположности того же рода бывают самыми различными; отсюда легче понять смысл вышеприведенного ответа, в котором глаза именуют себя семенами или источниками, потенциальная возможность которых есть море; отсюда следует, что, если бы Нептун потерял все воды, он мог бы восстановить их в результате деятельности того, в ком находятся, как в основном начале, деятель и материал. Поэтому нет большой натяжки в утверждениях, что не может быть, чтобы пламя не проникло через комнату и дворик глаз к сердцу, оставляя позади столько вод; для этого есть две причины: первая — та, что таких препятствий в действительности не может быть, если в действительности нет таких угрожающих противодействий; вторая — та, что, поскольку в глазах действительно имеются воды, они могут

дать жизнь как жару, так и свету: ведь опыт показывает, что и без нагрева зеркала падает световой луч, способный зажечь посредством отражения какую-нибудь подложенную материю, а через стекло, кристалл или вазу, полную воды, проходит луч, способный зажечь подложенную вещь без нагревания промежуточного тела; таким образом, есть вероятность и даже истина в том, что так действуют сухие жаркие давления во впадинах морских глубин. Таким же образом, по аналогии, если не по доказательствам того же рода, допустимо считать возможным, что через скользкое и темное ощущение глаз может быть согрета и зажжена страсть тем же светом, который, в силу того же самого соображения, не может находиться в самой среде. Так и свет солнца, по другому соображению, находится в промежуточном воздухе, один свет — в соседнем чувстве, другой — в общем чувстве, и еще другой — в уме, поскольку от одного модуса происходит другой модус бытия.

Лаодонио. Есть ли еще и другие беседы?

Либерิโอ. Да! Сердце и очи пытаются узнать, откуда в сердце имеется столько огня, а в очах столько влаги. И вот сердце задает следующий вопрос:

Второй упрек Сердца Очам

[59]

Все реки, в пену моря низбегая,
В теснинах бег прокладывают свой,—
Что ж, светочи, из вас вода живая
Двойным не льется током в мир пустой,
Чтоб, всех богов в границах утесняя,
Крепить лишь власть богов страны морской?
Что ж не вернется день, когда шел в горы
Девкалион искать стопам опоры?
Где брег, куда душа стремится?
Где тот поток, что пламень мой зальет
Иль в немощи лишь пуще разожжет?
Хоть капля, где чтоб в землю просочиться,
Которой бы свидетельствовал вид,
Что все не так, как страсть моя твердит?

Спрашивается, что это за возможность, которая не выражается в действовании? Если имеется столько вод, то почему Нептун не приходит, чтобы подчинить себе власть других элементов? Где находятся наводняющие реки? Где то, что охлаждает пылающий огонь? Где капля, которая дала бы мне возможность подтвердить зрением то многое, что отрицают чувства?

Однако глаза в свою очередь ставят другой вопрос.

Второй упрек Очей Сердцу

[60]

Чуть вещество становится огнем,
Своих частиц подвижность обретая, —
Его несет стремительный подъем,
Быстрее ветра ввысь его толкая.
Пожар любви прияв всем естеством
И с солнцем — пусть на миг — себя сливая,
Что ж странником влачишься ты в пыли,
Не взмыв чрез нас на воздух от земли?
Так искорка не знает,
Как из-под спуда на простор вспорхнуть,
Чтоб в пепел обратить живую грудь;
Так дым слезоточащий не взлетает;
Все в целостности собрано своей, —
Мысль, чувство — не от сердца и огней!

Лаодонио. Этот вопрос имеет не больше и не меньше значения, как тот, другой. Однако переходите скорее к ответам, если они есть.

Либериио. Конечно, они имеются, притом полносочные. Слушайте.

Второй ответ Сердца Очам

[61]

Глупец, кто, встретив солнечный восход,
Пред ним ни чувств, ни разума не склонит.
Мой пламень ввысь подняться не дерзнет,
И без границ пожар очей не тронет.
Пред ними — море, беспредельность вод;
Одна безбрежность здесь другой не гонит.
В природе есть всему обилье мер
И сколько есть пламен — в ней столько сфер.
Скажи мне ты, о зренье:
Тебе иль мне не будет ли дано
Найти тот путь, которым суждено
Душе обречь средь злых судеб спасенье?
Иль тайны нам не выдаст естество
И помощи не явит божество?

Лаодонио. Если это и неверно, то очень хорошо сказано; если и не так обстоит дело, то они очень хорошо взаимно оправдывают друг друга, если установлено, что там, где есть две силы, из которых каждая не больше другой, то неизбежно прекратится деятельность той и другой, когда одна может столько же сопротивляться, сколько другая нажимать, и одна может не меньше давать отпор, чем другая нападать; таким образом, если море бесконечно, а сила слез в глазах неизмерима, то невозможно, чтобы порыв огня, скрытого в груди, мог появиться, лишь чуть сверкнув или вспыхнув, а очи не могли бы послать двойной поток в море иначе, как с таким же количеством силы, с каким дает им отпор сердце. Вот почему и происходит то, что прекрасное божество, под видом слезы, которая каплет из глаз, или под видом искры, которая вылетает из груди, не может быть призвано к сочувствию огорченной душе.

Либерิโอ. А теперь обратите внимание на следующий ответ очей.

Второй ответ Очей Сердцу

[62]

В зыбучую стихию не вливает
Себя двойной поток наш: он иссяк.
Власть супротивная его смиряет,
Чтоб не низвергся в бездну и во мрак.
Могучий пламень сердца преграждает
Высоким волнам их упрямый шаг,
И к морю не дойдет струя двойная,—
Природа ей противится земная.
О сердце горькое, открой:
Замыслило ты силою какую
Противостать насильному покою?
Как сможешь сетовать на жребий свой,
Коль в нашей общей доле
Тем затаенней скорбь, чем больше боли?

Поскольку та и другая боль бесконечны, то они, как две равносильных противоположности, взаимно сдерживаются, уничтожаются; но так не могло бы быть, если бы обе они были конечными, поскольку нет точного равенства в делах природы; так не было бы и в том случае, если бы одна была конечной, а другая бесконечной; ясно, что последняя поглотила бы первую и тогда получилось бы, что обе стали бы проявлять себя вместе или по меньшей мере одна через другую. В этих высказываниях скрыта натурфилософия и этика, и я даю возможность их искать, созерцать и понимать тому, кто хочет и может.

Только я не хочу упустить из виду того, что не без основания страсть сердца названа бесконечным морем познавательной силы глаз. Потому что раз объект мысли бесконечен, а предлагаемый объект умом не ограничен, то воля не может быть удовлетворена конечным благом; но если за ним находится другое, то ум страстно желает и ищет, потому что (как вообще говорится) вершина низших видов есть подножье и начало высших видов; или берутся ступени сообразно формам, которые мы не можем считать бесконечными, или же сообразно модусам и их значениям в такой манере, чтобы высшее благо былэ бесконечным, и тогда мы бесконечно верим, что оно

постигается сообразно условиям вещей, на которые распространяется. Вот почему нет видов, ограничивающих вселенную (говорю относительно фигуры и размера), нет видов, ограничивающих ум, и нет видов, ограничивающих страсти.

Лаодонио. Итак, эти две силы души никогда не бывают и не могут быть совершенными через посредство объекта иначе, как бесконечно соотносясь с ним.

Либерิโอ. Так было бы, если бы это бесконечное существовало через отрицательное исключение или исключаящее отрицание цели, как оно существует через более положительное утверждение цели бесконечной и беспредельной.

Лаодонио. Вы, значит, хотите сказать о двух видах бесконечности: одна — исключаящая, которая может быть направлена к чему-то такому, что есть голая возможность, как, например, бесконечная тьма, в конце которой находится местоположение света; другая — совершенная, которая есть в действии и совершенстве, как бесконечный свет, в конце которого находились бы исключение и тьма. Следовательно, из того, что ум воспринимает свет, добро — красоту в той мере, в какой разворачивается горизонт его способностей, и душа, пьющая божественный нектар из источника вечной жизни, поскольку допускает это ее собственное вместилище, — видно, что свет находится вне окружности своего горизонта, куда он может идти, проникая все больше и больше, и что нектар и источник живой воды бесконечно плодородны и ими можно все более и более опьяняться.

Либерิโอ. Из этого не вытекает ни несовершенство объекта, ни малая удовлетворительность силы, но следует, что сила охвачена объектом и блаженно поглощена им. Здесь глаза запечатлеваются в сердце, то есть в понимании, возбуждают в воле бесконечную тревогу сладкой любви, в которой нет страдания, потому что нет того, что желаемо, но есть счастье, потому что находится то, что ищется; и нет здесь насыщения, поскольку всегда имеется желание и, следовательно, вкус к питанию, в отличие от телесной пищи, которая по мере насыщения ослабляет вкус; и нет радости ни до вкушения, ни после вкушения, но только в самом вкушении; там, где переходят за определенную границу и цель, там появляется и устанавливается скука и тошнота.

Итак, взгляни, как на некоторую аналогию: высшее благо должно быть бесконечным; и толчок страсти по направлению к нему также должен быть бесконечным, чтобы не перестать быть благом, как иной раз пища, хорошая для тела, становится ядом, если нет модуса; так вот и вода Океана не гасит того пожара, а холод Арктического круга не умеряет того зноя. Так и Энтузиаст пленен той же рукой, которая его держит и вместе с тем не хочет его: она его держит, так как взяла его себе; но она и не хочет его, так как (как бы избегая его) ставит себя для него тем выше, чем больше он поднимается до нее; и чем усерднее он следует за ней, тем дальше она ему кажется, в силу ее возвышеннейшего превосходства, согласно изречению: Придет человек к сердцу высокому, и восхвален будет бог.

Такое счастье страсти начинается в этой жизни, и в этом состоянии оно имеет свой модус бытия. Поэтому можно сказать, что сердце находится внутренне в теле, а вне — в солнце, поскольку душа с двойной способностью выполняет две функции: одну — оживлять и активизировать жизнеспособное тело, другую — созерцать высшие вещи; в силу этого она и обладает способностью к восприятию свыше и вместе с тем направлена активной силой вниз, к телу. Тело — как бы мертво и примитивно по отношению к душе, которая есть его жизнь и совершенство; а душа — как бы мертва и примитивна по отношению к высшей просветленной интеллектуальности, которая облачает интеллект одеждой и формирует в действии. Затем сказано, что сердце есть начало жизни и лишено ее, не есть живое; сказано, что оно принадлежит оживляющей душе, но душа не принадлежит ему, потому что оно воспламенено божественной любовью и превращается в конце концов в огонь, способный зажечь то, что к нему приближается: ведь, вобрав в себя божественность, оно стало божественным, и, следовательно, этим своим видом оно может привлечь любовь других, совершенно так же, как в луче можно любоваться и прославлять сияние солнца. Затем, что касается зрения очей, знайте, что в вышеприведенной речи они имеют две функции: одна — запечатлевать в сердце, другая — принимать впечатления от сердца, так же как и последнее имеет две функции: одна — принимать впечатления от очей, другая — запечатлевать их. Глаза воспринимают виды и предлагают их сердцу, сердце их жаждет и свое жадное желание передает очам: те воспринимают свет, рассеивают его и зажигают огонь в сердце, а

сердце, согревшись и воспламенившись, посылает свою любовь очам, чтобы они ее усвоили. Таким образом, сначала познанием приводится в движение страсть, а затем познание в свою очередь приводится в движение страстью. Очи, когда совершают движение, сухи, потому что выполняют обязанность зеркала и представителя; а когда их приводят в движение, они мутны и раздражены, потому что выполняют обязанность усердного исполнителя: ведь созерцательному уму сперва видно прекрасное и благое, затем воля начинает желать их, и, наконец, изобретательный интеллект о них заботится, следует за ними и ищет их. Плачущие очи означают трудность отделения от желающего желаемого, которое, чтобы не насытить и не наскучить, избирает себе место, словно для бесконечного изучения, которое чем-то всегда обладает и чего-то всегда ищет; ведь счастье богов описывается как процесс питья, а не как потребленный нектар, как отведывание, а не завершение вкушения амброзии, в продолжающемся ощущении пищи и напитка, а не в насыщении и не в нежелании их. Поэтому сытость — как бы в движении и в принятии, а не в покое и в восприятии; нет насыщения без желания, и нет желания без некоторого рода насыщения.

Лаодонио. — Г олод насыщаемый, насыщение голодное...

Либериио. Именно так!

Лаодонио. Отсюда я могу понять, как безупречно, очень верно и умно было сказано, что божественная любовь плачет с невыразимыми стенаниями, потому что тем, что она все имеет, она все любит, а тем, что все любит, она все имеет.

Либериио. Много толкований понадобится, если мы захотим понять, что божественная любовь есть само божество; и легко постигается божественная любовь, поскольку она находится в следствиях и в подчиненной природе; я говорю не о том, что божество разлито в вещах, но о вещах, которые стремятся к божеству.

Лаодонио. Об этом и прочем будем рассуждать более подробно дальше. Пойдемте!

Конец третьего диалога



Диалог четвертый

Собеседники:

Северино

и

Минутоло

Северино. Итак, послушайте рассуждение о девяти слепых, которые излагают девять основных начал и частные причины своей слепоты, хотя все они сводятся к общей причине, свойственной энтузиазму.

Минутоло. Начните с первого слепца.

Северино. Первый из них, хотя он слепой от рождения, все же жалуется на это, говоря другим, что не может убедить себя в том, что природа была к ним более нелюбезна, чем к нему: ведь, хотя они и не видят, они все-таки доказали, что когда-то обладали зрением и осведомлены о достоинстве этого чувства и о превосходстве того, что воспринято ими и из-за чего они стали слепыми; он же появился на свет, как крот, чтобы быть видимым, но самому не видеть и страстно желать того, чего никогда не видал.

Минутоло. Значит, существует много влюбленных по одной наслышке.

Северино. Они, по его словам, все же имеют счастье удерживать в себе тот божественный образ и таким путем, хотя они и слепы, все же обладают в воображении тем, чего не могут иметь в действительности. Далее он обращается в стихах к той, которая служит ему поводырем, прося подвести его к какой-нибудь пропасти, дабы впредь не являть собой ужасного зрелища пренебрежения природы. Итак, он говорит:

Говорит первый слепец

[63]

Счастливыцы — зрячие в былые лета!
Хоть скорбны вы теперь, утратив свет,
Все ж некогда вы видели два света
И в вас еще живет их вспышек след.
Моя же боль напрасно ждет ответа;
Мое злосчастье горше прочих бед;
Кто скажет убеждающее слово,
Что к вам природа более сурова?
К обрыву, поводырь,
Веди меня и даруй утоление,—
Ты можешь оборвать мои мученья.
Я видим, мне ж закрыты свет и ширь,
Затем что я кротом родился,
Бесцельным грузом на землю явился!

За ним следует второй слепой, который был укушен змеей страсти и вследствие этого поражен в орган зрения. Он идет без поводыря, если не считать его спутницей страсть. Он просит некоторых из окружающих, чтобы они, если нет лекарств от его недуга, оказали ему милость и помогли ему не чувствовать своего недуга, скрыться от самого себя, как скрылся от него его свет, и дать ему возможность похоронить себя со своим горем. Итак, он говорит:

Говорит второй слепец

[64]

Косматая Алектэ вдруг явила
Мне адского червя: укус пронзил,—
И разум сник, и чувств ослабла сила,
И яд жестоко дух мой отравил.
Исчез вожак: мой разум придавило;
Напрасно ждет душа, чтоб пособил
Ей кто-нибудь снять ревности преграды
С путей, где ей скитаться будет надо.
Но божество бессильно тут,
Как и разрыв-трава, целебный камень,
И даже волшебства заклятый пламень.
Кто сможет дать последний мне приют,
Чтоб мне позволила гробница
С моим злосчастьем в ней навек укрыться?

За ним следует третий, который говорит, что ослеп потому, что внезапно вышел из тьмы посмотреть на яркий свет. Ведь он привык любоваться обычной красотой, но вот перед его глазами вдруг предстала небесная красота, божественное солнце; именно поэтому у него испортилось зрение и приглушен светоч-близнец, который сияет впереди души (ибо глаза — как бы два фонаря, ведущие корабль), как обычно происходит у выросшего в киммерийских сумерках, если он вдруг устремит взор на солнце. Слепой просит в своих стихах, чтобы ему открыли свободный доступ в ад, потому что только сумерки подходят для подданного сумерек. И вот он говорит:

Говорит третий слепец

[65]

Блестящая планета выплывает
Пред тем, кто вскормлен долгой темнотой.
Под небо Киммерии, где кидает
Обычно солнце луч унылый свой.
На яркость света близнецов сбивает
С кормы души и ускользает злой.
Угасли светочи мои; простою
Уж им не любоваться красотою.
Хочу я в адские поля!
Что, мертвецу, общаться мне с живыми?
Сухому пню что делать с молодыми?
Все — смесь во мне.
Смертельный воздух я
В себя впиваю в воздаянье
За то, что высших благ знал созерцанье.

Появляется четвертый слепой, ставший незрячим по схожей, однако не по той же причине, что предыдущий. Тот ослеп из-за внезапного взгляда на свет, этот же из-за постоянного или частого смотрения, — или даже из-за того, что слишком напрягал глаза, — потерял ощущение всякого другого света и не считает себя слепым, потому что смотрит на то единственное, что его ослепило. И он говорит о чувстве зрения подобно тому, у кого произошла потеря слуха; ведь те, у кого уши слушали сильные шумы и грохоты, не слышат меньших шумов; это известно о народах, живущих у водопада Катадупы, где великая река Нил низвергается с высочайшей горы на равнину.

Минутоло. Так все те, кто отдавал тело, душу на дела более трудные и крупные, обычно не чувствуют неприятности от меньших трудностей. Так и названный выше не должен быть недовольным своей слепотой.

Северино. Конечно. Ведь он считает себя добровольным слепым, который доволен, что от него скрыто все другое, надоедливое и отвлекающее его от любования единственно желанным.

И в это время он просит путников, чтобы они не отказались помочь ему избежать беды в несчастных случаях, когда он шествует, поглощенный вниманием к главному объекту.

Минутоло. Передайте нам его слова.

Северино.

Говорит четвертый слепец

[66]

Нил, низвергаясь в бездну с вышины.
Так оглушает, что лишились слуха
Его порогов хмурые сыны.
Вот так и я вливаю силой духа
Ярчайший свет из всех, что в мир даны,—
К другим соблазнам ныне сердце глухо;
Что мне они? Ущербоности печать
На них лежит, к чему их примечать?
Молю, меня не бросьте,
Чтобы на камень не наткнулся я,
Чтоб не вела к змее стопа моя,
Чтоб не легли скитальческие кости
На пустыре, в низине,
Где без повода блуждаю ныне.

У следующего слепого вследствие обильно пролитых слез глаза настолько потускнели, что он не может направлять взгляда, чтобы сравнивать видимое и особенно чтобы снова видеть тот светоч, который вопреки своему желанию, из-за стольких слез, он видел некогда. Кроме того, он считал свою слепоту не неизбежной, но делом навыка и потому устранимой: ведь светящийся огонь, воспламенявший душу зрачка, очень долго и смело подавлялся и угнетался враждебной ему влагой; таким образом, даже если бы и прекратился плач, слепой не убежден, что результатом этого было бы появление желанного зрения. Послушайте, что он говорит окружающим, когда те побуждают его переступить границы.

Говорит пятый слепец

[67]

Глаза мои, вы полны влагой вечно!
Когда ж, скажите, луч живого зренья
Пронзит своею искрой бесконечный
Препятствий ряд и возродит мгновенья,
Когда впервые мне блеснули встречно
Светильники сладчайшего мученья?
Боюсь, святой их свет не одолеет
Теперь той мглы, что все плотней густеет.
Откройте ж путь слепому
И к тем источникам направьте зренье,
Что вражеское сломят единенье.
Пусть судит мой противник по-иному!
Поймет он поздно или рано:
Единый зрак мой — глубже океана.

Шестой незрячий ослеп из-за того, что в чрезмерном плаче он пролил столько слез, что вовсе не осталось влаги, вплоть до зрительной, равно как той влаги, через которую, как через промежуточную среду, передавался луч зрения, а также проникал внешний свет и зримые виды; поэтому сердце оказалось настолько истерзанным, что вся влажная субстанция (чьей функцией является также объединение различных и противоположных частей) истратилась, и у этого шестого осталось лишь любовное заболевание без действия слез, вследствие того орган зрения был ослаблен победою других элементов и стал совершенно невидящим и нестойким в составе тела. Затем слепой предлагает окружающим выслушать вот что:

Говорит шестой слепец

[68]

Глаза уж не глаза; не влага — влага,
Прервавшая течение свое,
Плоть, дух, душа не спаяны во благо;
И ты, ледок зрачков, в ком бытие
Вещей отображается столь наго,—
Вас помнит сердце скорбное мое!
Но что ни шаг, я вглубь пещеры темной,
В подземный мир, влекусь, слепец бездомный.
Печальники мои! Вам надо
Скорей подать мне помощь, я без сил
Затем, что я все слезы истощил
В те дни, когда не знал к себе пощады:
Без влаги сохнет грудь моя,
И полного забвенья жажду я!

Внезапно появляется следующий слепой, потерявший зрение от сильного жара, который, поднимаясь от сердца, сперва выел очи, а затем высосал всю остающуюся влагу из субстанции влюбленного, так что, весь испепеленный и горящий, он уже сам не свой; ведь огонь, обладающий свойством разлагать все тела на их атомы, превратил его в прах, негодный для соединения, хотя под воздействием одной воды атомы у других тел сгущаются и соединяются так, что образуют сложный состав. При всем том слепой не лишен ощущения сильнейшего пламени. Поэтому в стихах он хочет заставить открыть себе проход, ибо если бы кто-нибудь оказался затронутым его пламенем, то стал бы чувствовать жар даже от адского пламени не больше, чем от холодного снега. Итак, он говорит:

Говорит седьмой слепец

[69]

Краса чрез взоры в сердце проникая,
Раздула буйный горн в груди моей
И, зрительную влагу поглощая,
Высоко мечет жаркий сноп огней;
Потом, остаток влаги иссушая,
Чтоб дать сухой стихии мир верней,
Она Ео прах состав мой обратила,
На атомы меня развеществовала.
Под страхом вечных мук,
О люди, мне убежище найдите,
От моего огня себя спасите,
Чтоб пламя вас не охватило вдруг,
И даже лютая зима
Не сделалась бы пеклом вам сама.

Следует восьмой, слепота которого причинена стрелой Амура, впущенной в него от очей к сердцу. Поэтому он жалуется не только в качестве ослепшего, но, кроме того, в качестве раненого и пылающего с такой силой, с какой, по его мнению, никто другой пылать не может. Его чувство легко выражается в следующем высказывании:

Говорит восьмой слепец

[70]

Предательский удар, триумф обмана,
Тугая тетива, стрел острое,
Бесчестный пыл, язвительная рана —
Вот, дерзкий бог, оружие твое!
Глаза пробиты, в сердце яд дурмана,
Раба любви слепое бытие;
Всю боль, весь жар, все путы неизменно
Ношу с собой, везде, ежемгновенно.
Герои, люди, божества!
Пришлось ли вам, близ Зевса иль Плутона,
Иль на земле, теперь, во время ль оно,
Самим (иль может, донесла молва)
Встречать таких, как мы, влюбленных,
Столь же покорных, столь же истомленных?

Наконец идет последний слепец, который к тому же еще и нем: не имея возможности (из-за отсутствия смелости) сказать то, что чрезвычайно хотел бы, не задевая и не вызывая отвращения, он вместе с тем лишен возможности говорить о чем-либо другом. Поэтому и говорит не он, а его поводырь, высказывающий соображение, которое я не истолковываю, так как оно понятно, а лишь передаю его нравоучительный смысл:

Говорит поводырь девятого слепца

[71]

Вы счастливы, влюбленные слепые!
Вы муки ваши в силах описать
И за свои рыдания глухие
Обрести участие добрых благодать.
У моего ж ведомого иные
Мученья — в них он осужден пылать,
Не раскрывая уст: где сил набраться,
Чтоб мог своей богине он признаться?
Толпа! Открой же путь
Страдальцу с ликом, скорбью истомленным!
Взгляни на жертву взором благосклонным:
Стучит его измученная грудь
У погребальной двери:
Ведь смерть ему милей его потери!

Ниже обозначены девять причин, вследствие которых человеческая мысль слепа к божественному объекту, так как не может задержать на нем очей. Из них:

Первая [причина], аллегорически изображенная в виде первого слепого, имеет природу особого вида, при которой он, пребывая на определенной ступени, все же несомненно стремится понять больше того, что он в состоянии Понять.

Минутоло. Поскольку ни одно естественное желание не является тщетным, мы можем поверить в более высокое состояние, какое подобает душе вне этого тела, в котором она могла бы соединить себя со своим объектом или поднять себя выше к нему.

Северино. Вы сказали очень хорошо, что нет ни одной возможности и естественного влечения, которое было бы лишено глубокой причины, и что проявляет себя то же правило природы, которое приводит в порядок вещи. Это — истиннейшее и вернейшее дело для благоразумных умов, у которых человеческая душа (какой бы она ни проявляла себя, пока пребывает в теле) тем самым, что появилась в этом состоянии, выражает свое странствующее бытие в этой области, потому что стремится к всеохватывающей истине и

всеобщему благу, а не довольствуется лишь тем, что идет на благо и на пользу ее собственному виду.

Вторая [причина], изображенная в обличье второго слепого, происходит от какой-нибудь извращенной страсти, какой в отношении к любви является ревность, представляющая собой как бы древесного червя, имеющего одного субъекта и врагом и отцом) и точащего ту шерсть «ли то дерево, из которого он произошел.

Минутоло. Этой второй причине, как мне кажется, нет места в героической любви.

Северино. Правильно, если говорить о той причине, которая видна в вульгарной любви; но я имею в виду другую причину, соответствующую той, какая имеется у любящих истину и благо; она проявляет себя, когда возникает гнев против тех, кто хочет ее подделать, испортить, извратить, или против тех, кто пытается недостойно использовать ее как-нибудь иначе, как это делали невежественные народы и вульгарные секты с людьми, доведенными до смерти, до мучений, до низкого обращения.

Минутоло. Конечно, никто поистине не любит правды и блага, если не питает гнева против толпы, так же как тот не любит вульгарно, кто не ревнив и не робок перед любимым.

Северино. И при этом он в самом деле становится ко многому слепым, а сверх того, по общему мнению, он вполне глуп и безумен.

Минутоло. Я заметил одно место, где названы глупыми и безумными все, у кого мысли иные и резко отличающиеся от мыслей других людей. Но эта экстравагантность бывает двоякой: у одних она отличается тем, что они поднимаются выше, чем все, либо выше, чем поднимается или же может подняться большая часть, — эти люди вдохновлены божественным энтузиазмом; или же она отличается тем, что падает ниже того уровня, на котором находятся люди, у которых чувства и разум более недостаточны, чем это бывает у множества, у большинства и у обыкновенных людей, в этом виде безумия, неразумности и слепоты не окажется героической ревности.

Северино. Однако если сказать, что усиленные занятия сделали человека безумцем, то этим нельзя нанести ему оскорбления.

Третья [причина], изображенная в виде третьего слепого, происходит оттого, что божественная истина по сверхъестественному основанию, именуемому метафизическим, показываясь немногим,

которым она являет себя, не продвигается вперед постепенным движением и временем, как это имеет место в физических науках (то есть тех, которые познаваемы естественным светом и которые, — если умозаключать, исходя от одной причины, известной чувству или разуму, — продвигают вас к познанию другого неизвестного; это рассуждение называется аргументацией), но появляется вдруг и внезапно, согласно модусу, соответствующему такой действующей силе. Поэтому-то и сказал один божественный человек: Уныло смотрели глаза мои к небу. Вот почему отнюдь не необходимы долгая затрата времени, трудовое утомление и поиски, чтобы обрести ее, ибо она возникает так же быстро, как появляется без промедления солнечный свет тому, кто к нему повертывается и открывает его себе.

Минутоло. Вы, значит, считаете, что ученые и философы не более способны к этому свету, чем любые невежды?

Северино. В известной мере «нет» и в известной мере «да». Нет разницы, когда божественная мысль своим божественным провидением передает себя субъекту, не подготовив его предварительно, то есть хочу я сказать, когда она передает себя потому, что сама ищет и избирает субъект; но большая разница, когда она ждет и хочет быть найденной, а затем, по своему благоусмотрению, хочет заставить найти себя. В этом модусе она не открывается всем и может открыться) только тем, кто ее ищет. Поэтому и сказано: Всякий ищущий меня находит меня, и в другом месте: Кто жаждет, иди ко мне и пей.

Минутоло. Нельзя отрицать, что восприятие вторым модусом своевременно.

Северино. Вы не различаете расположения к божественному свету от восприятия его. Конечно, я не отрицаю, что для расположения к нему необходимо время, рассуждение, изучение и труд, но, как мы говорим, порча требует времени, рождение же — одного мига, или, как видим, окна открываются постепенно, а солнце выходит в один миг; вот то же соответственно происходит с вышесказанным.

Четвертая [причина], представленная в виде следующего слепого, не есть истинно недостойная, какой бывает та, что происходит от привычки верить в ложные мнения толпы, очень далекой от суждений философов, или же та, что происходит от изучения вульгарной философии, которая тем сильнее уважаема массой, чем более

приближаете! к здравому смыслу. Между тем такая привычка есть одно из величайших и сильнейших препятствий, какие только можно найти: ведь (как поясняют примерами Аль-Газали и Аверроэс) нечто подобное происходит с теми, кто с детства и с юности привык принимать яд и сделался таким, что яд превратился для них в приятную и подлинную пищу, и, наоборот, они чувствуют отвращение к продуктам, истинно хорошим и сладким, какие дает обычная природа.

В действительности же эта слепота в высшей степени достойна уважения, потому что основана на привычке созерцать истинный свет (каковая привычка не может войти в употребление толпы, как было сказано). Это — слепота героическая, и она такова, что ею может достойно удовлетворять себя этот названный героический слепец, который настолько же не видит ее, насколько заботится о ней, который поистине приходит к пренебрежению всякими другими взглядами и хотел бы добиться у людей только того, чтобы они не вмешивались и предоставили ему преуспевать в созерцании, ибо обычно он привык к проявлениям коварства и ему обычно ставились смертельные препятствия.

Пятая [причина], обозначенная пятым слепцом, происходит от несоответствия средств нашего познания тому, что познается; ведь для созерцания божественного необходимо открыть себе глаза при помощи фигур, уподоблений и прочих оснований, которые называются у перипатетиков фантазмами, или же посредством созерцания сущности, идя от следствия к познанию причин; но эти средства настолько же неудовлетворительны и бесполезны для достижения означенной цели, что скорее надо видеть в них препятствия, если мы хотим считать, что более высокое и глубокое познание божественного должно происходить через отрицание, а не через утверждение, и если мы признаем, что божественная красота и благо есть не то, что может стать доступным и в самом деле доступно нашему восприятию, но то, что находится вне его и что непознаваемо; принципы в этом состоянии именуются философом созерцанием фантазмов, а теологом — видением при помощи аналогий и загадок, так как мы видим не истинные следствия и истинные виды вещей, или субстанцию идей, но тени, следы и подобия их, наподобие тех, кто находится внутри пещеры и кто от рождения имеет плечи, отворачивающиеся от

отверстия, через которое входит свет, и лицо, обращенное в глубину пещеры, где видно не то, что подлинно истинно, но тень того, что субстанциально находится вне пещеры.

Однако при посредстве открытого видения, которое проникает и сознает, что проникает, дух, подобный тому или лучший, чем тот, о котором плачет Платон, желая выйти из пещеры, не через отражение, а через непосредственное обращение, может снова увидеть свой свет.

Минутоло. Мне кажется, что это — слепец не вследствие трудности, происходящей от отраженного виденья, но вследствие того препятствия, которое причинено отношением между зрительной возможностью и объектом.

Северино. Эти два способа, хотя они и различны в познании умственном и в видении глазами, все же всегда соревнуются в одном: в познании рациональном, или интеллектуальном.

Минутоло. Мне кажется, что я читал и понял, что для всякого видения требуется средство или посредничество между возможностью и объектом. Потому что, как при помощи света, разлитого в воздухе, возникает подобие вещи, происходящее в известной мере как итог того, что именно видно тому, кто видит, то есть как итог приведенного в действие акта виденья, так и в области интеллектуальной, где сияет солнце ума, действующего в качестве посредника в отношении умопостигаемого вида, образованного и как бы происходящего от объекта, является наш ум, — или иной, более низкий, чем он, чтобы постичь божественность. Потому что как наш глаз (когда мы видим) не получает света от огня и от золота в их субстанции, а лишь в подобии, так и ум, в каком бы состоянии он ни находился, не получает в субстанции божество там, где в субстанции имеется столько богов, сколько умопостигаемых видов, но получает это в подобии, вследствие чего это формально не боги, а лишь именуются божественными, в то время как божество и божественная красота остаются едиными и высящимися над всем.

Северино. Вы говорите хорошо, но из ваших слов выходит, что нет таинства, которого я не мог бы изобразить себе; я на это не приводил возражений, однако должен высказаться точнее и дать объяснения. Поэтому прежде всего заявляю, что непосредственное виденье, как мы его назвали, не отвергает ни того средства, каким является вид умопостигаемый, ни того, каким является свет; но оно отвергает то

виденье, которое пропорционально густоте и плотности среды или же совершенно непрозрачному, изнутри перегороженному телу; так бывает с тем, кто смотрит либо через более или менее взволнованную воду, либо через грозовой или туманный воздух и кто мог бы догадаться, что ему не следует смотреть через такую среду, если бы он получил возможность глядеть через воздух чистый, ясный и прозрачный. Все это объяснено вам в стихах, где сказано, что луч прорвется искрой через тучу густых преград. Однако вернемся к главному.

Шестая [причина], изображенная в виде следующего слепца, порождена только глупостью и несостоятельностью тела, которое пребывает в постоянном движении, изменении и порче и действия которого должны следовать за условиями его свойства, соответствующего условиям природы и бытия. Как вы хотите, чтобы неподвижность, устойчивость, сущность, истина были включены в то, что рсегда становится все иным и иным и делает всегда все иначе и иначе? Какая истина, какой портрет может быть написанным и запечатленным там, где зрачки очей растекаются водой, вода — паром, пар — пламенем, пламя — воздухом, а воздух претерпевает одно изменение за другим, без конца проходя через субъект чувства и познания в кругу изменений в бесконечности.

Минутоло. Движение есть изменение; то, что движется, делается все иным и иным; то, что становится таким, всегда иначе существует и иначе действует; поэтому уразумение и склонности обусловлены причиной и условиями субъекта. И тот, кто рассматривает это иное и иное и все иначе и иначе, тот должен быть неминуемо слеп к красоте, которая всегда одна и единственна и является одним и тем же единством и сущностью, тождеством.

Северино. Правильно.

Седьмая [причина], аллегорически заключенная в чувстве седьмого слепца, происходит от пламени страсти, которая делает некоторых бессильными и неспособными понять истинное, так как тут страсть предшествует интеллекту. Таковы те, которые любят, прежде чем понимают, в итоге — у них получается так, что все представляется им окрашенным цветом их привязанности; а ведь у того, кто хочет познать истину путем созерцания, мысль должна быть совершенно чиста.

Минутоло. В действительности же мы видим, что существует многообразие созерцателей и исследователей, в силу того что одни (согласно навыкам их первых и основных дисциплин) действуют при помощи чисел, другие — при помощи фигур, третьи — системой порядков и ее нарушениями, четвертые — сочленением и расчленением, пятые — отделением и сочетанием, шестые — исследованиями и сомнениями, седьмые — дискуссиями и определениями, восьмые — толкованиями и разъяснениями мнений, терминов и речений. Поэтому одни — философы-математики, другие — метафизики, третьи — логики, четвертые — грамматикки. Так возникает многообразие созерцателей, которые с разными страстями отдаются изучению написанных мнений и применению их (в действии); а в итоге получается, что один и тот же свет истины, выраженный в одной и той же книге одними и теми же словами, используется многочисленными, различными и противоположными сектами.

Северино. Поэтому надо сказать, что страсти в сильнейшей степени могут мешать восприятию истины, хотя те, кто охвачен ими, не замечают их, как это случилось с глупым больным, который не сказал, что у него горько во рту, но сказал, что горька пища.

Таким видом слепоты поражен тот, у кого глаза испорчены и лишены своего естественного состояния, отчего то, что посылается и отпечатлевается сердцем, может испортить не только чувство, но, кроме того, и все прочие способности души, как это показывает представленная фигура слепого.

У изображенного восьмого слепца превосходный умопостигаемый объект в такой же мере ослепил ум, в какой у предыдущего, седьмого слепца, превосходное восприятие извратило рассудок. Так бывает с тем, кто видит Юпитера в его величии и лишается жизни, а следовательно, лишается чувств. Так случается, когда кто-нибудь смотрит высоко, то иной раз бывает подавлен величием. Кроме того, если в кого-нибудь проникает божественное, то оно проходит через него, как стрела. Поэтому теолога говорят о божественном слове, что оно проникает глубже, чем любой удар меча или ножа. Отсюда происходит образование и отпечаток собственного следа, поверх которого не может быть другого оттиска или отпечатка; там, где такая форма утвердилась, а пришедшая новая не может стать ее

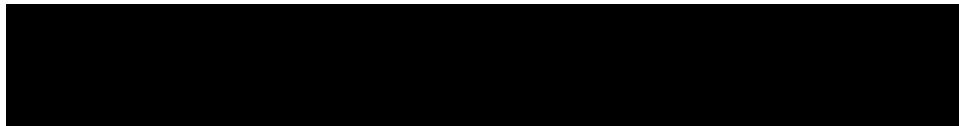
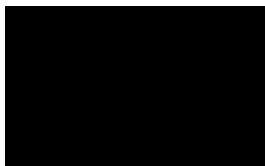
наследницей, если первая форма не отступит, — там, следовательно, можно сказать, что эта форма уже не имеет больше способности принять что-либо новое, раз нечто ее заполнило или разлагает ее своим непреодолимым несоответствием.

Девятая [причина] изображена в виде девятого слепого, который стал таким из-за недоверия, из-за упадка духа, однако управляем и обусловлен великой любовью, ибо в горении он боится обидеть ее. Поэтому и говорится в «Песни Песней»: Отклони очи твои от меня потому что они волнуют меня. И таким образом он уничтожает глаза, чтобы не видеть того, что чрезвычайно желал бы и рад был бы увидеть, равно как сдерживает язык, чтоб не говорить с тем, с кем в высшей степени желал бы говорить, — все это из боязни обидеть неправильным взглядом или неверным словом или чем-либо иным поставить в неловкое положение. Это обыкновенно бывает о г понимания превосходства объекта, стоящего выше его потенциальной способности; поэтому самые глубокие и божественные теологи говорят, что бога любят и почитают больше молчанием, чем словом, как воображаемые виды предстают больше закрытым глазам, чем открытым; поэтому негативная теология Пифагора и Дионисия намного выше доказывающей теологии Аристотеля и схоластических докторов.

Минутоло. Пойдемте и будем рассуждать по дороге.

Северино. Как вам угодно.

Конец четвертого диалога



Диалог пятый

Собеседники:

Лаодомия

и

Юлия

Лаодомия. Когда-нибудь, сестра, ты услышишь о том, что принесло полный успех этим девяти слепцам, которые раньше были девятью влюбленными юношами. Воспламененные красотой твоего лица, но лишённые надежды достичь желанного плода любви и боясь, чтобы эта безнадежность не довела их до окончательной гибели, они ушли из счастливой Кампаньи.

Прежние соперники перед твоей красотой, они затем договорились и поклялись никогда не расставаться, пока не испытают все возможное, чтобы найти кого-нибудь, кто был бы красивее тебя или по меньшей мере равен тебе красотой; притом они хотели найти ее, если это возможно, в сочетании с милосердием и состраданием, чего они не нашли в твоём сердце, скованном гордостью. Они признали это единственным средством избавиться от жестокого рабства.

На третий день после их торжественного отбытия, проходя близ горы Цирцеи, они захотели зайти посмотреть древности в пещерах и святилищах этой богини. Когда они пришли туда, они были восхищены величием и уединенностью обвеваемого ветрами места, высокими и обрывистыми скалами, рокотом морских волн, которые разбивались у этих пещер, и многим другим, что позволило им увидеть место и время. Один из них (я назову его тебе), более пылкий, сказал:

— О, если бы небу угодно было, чтобы и в наше время, как это было в другие, более счастливые века, предстала перед нами волшебница Цирцея, которая при помощи трав, минералов, ядов и чар смогла бы обуздать природу. Я вполне поверил бы, что она, несмотря на свою надменность, все же смиростивилась бы над нашим горем.

Снизойдя к нашим жалобным мольбам, она дала бы нам исцеление или позволила бы отомстить нашей противнице за жесткость.

Как только он произнес эти слова, перед ними возник дворец. Всякий, знакомый с творениями человеческого гения, легко мог понять, что дворец этот не был сотворен ни человеком, ни природой. Внешний вид его я опишу в другой раз.

Путники были поражены удивлением и охвачены надеждой на то, что некое благосклонное божество высказало этим уважение им и желание определить их судьбы. Они сказали в один голос, что в худшем случае их постигнет смерть, которую они считали меньшим злом, чем жизнь в таких страданиях. Поэтому они вошли во дворец, не встретив ни закрытой двери, которая преградила бы им путь, ни привратника, который спросил бы их о цели прихода.

Они оказались в богатейшей, великолепно украшенной зале, где в царственном величии, какое можно было бы назвать аполлоновым и которое еще приукрасил Фазфон, им предстала та, которую называют его дочерью. При ее появлении исчезли образы многих других божеств, которые прислуживали ей.

Она выступила вперед. Встреченные и ободренные приветливым выражением ее лица и покоренные блеском ее величия, они преклонили колени и с теми различиями, которые были обусловлены их разными характерами, изложили богине свои пожелания.

В заключение же они встретили у нее такой прием, что слепые скитальцы, с трудностями и бедствиями пересекая много морей, перешедши много рек, переваливши через много гор, пройдя много долин в течение десяти лет, наконец, попали под это умеренное небо острова Британии, они собрались для созерцания прекрасных и грациозных нимф отца Темзы и, после того как выполнили соответствующие акты почтения, теперь нашли здесь в высшей степени любезный прием.

Главный из них, которого я назову дальше, с трагическим и жалобным выражением так изложил общую цель:

О дамы! Здесь, пред вами, — те (не скрою!),
Чья чаша заперта и чьи сердца больны,
Но на природе в этом нет вины;
Тут только воля рока,
Который истерзал жестоко
Нас бессмертной смертью — слепотою.

Нас — девять, тех, кто много лет блуждали,
Ища познания, шли чрез много стран,
Пока не заманила нас в капкан
Судьба столь бессердечно,
Что вы воскликнете, конечно:
«О любомудры! тяжело вы страдали!»

Цирцея та, которая немало
Гордится тем, что солнце — ей отец,
Предстала нам, измученным вконец,
И из открытой чаши
Плеснула влагой в лица наши,
Потом вершить свои заветы стала.

И ждали мы конца ее деянья,
Внимая молча, словно простецы,
Пока она не молвила: «Слепцы!
Отныне прочь ступайте
И в выси те плоды срывайте,
Которые доступны без познания».

«О дочь и мать мрака и напасти,—
Ответил ей ослепший в трудный час,—
Ужель тебе так сладко мучить нас,
Страдальцев, что, судьбою
Гонимые, перед тобою
Предстали, чтоб твоей предаться власти?»

Потом наш гнев унынием сменился;
Потом дал новый поворот в судьбе
Иные чувства нам обрести в себе:
Чтоб гнев смягчить мольбою,
Один из нас тогда с такою
К Цирцее речью скорбно обратился:

«Прими от нас, волшебница, моление!
Во имя ль славы, жаждущей венца,
Иль жалости, смягчающей сердца,
Будь нам врачом желанным
И многолетним нашим ранам
Поддай своими чарами целенье!

И хоть твоя рука нетороплива,
Все ж не откладывай спасенья час,
Не отдавай в добычу смерти нас,
И пусть твои движенья
Исторгнут слово восхищенья:
Мучитель наш врачует нас на диво!»

Она ж в ответ: «О любомудры, знайте:
Вот чаша здесь со влагою другой!
Ее открыть нельзя моей рукой;
Вы сами с чашей этой
Идите вдаль и вглубь по свету,
Во всех отважно областях пытайте.

Решеньем рока, миру на потребу,
Лишь мудрости в единстве с красотой,
Слиянной с благородной добротой,
Дано снять крышку с чаши;
Иначе все усилья ваши
Не смогут предъявить ту влагу небу.

И тот из вас, кто из прекрасных дланей
Целебной влагой будет окроплен,
Высокую познает милость он,
И для его мученья
Желанное придет смягченье,
И он узрит двух дивных звезд сиянье.

Но остальных пусть зависть не тревожит,
Как долго бы для них ни длился мрак;
Под небосводом не бывает так,
Чтоб радость награжденья
Не стала платой за мученья,—
Там, где старанье человек приложит!

Вот почему дороже всех жемчужин
Теперь для вас должна явиться та,
К которой приведет вас слепота:
Пусть бьет она жестоко,
Но как ее лучисто око,
Что свет иной для мудреца не нужен».

Но мы устали! Слишком долго время
Водило наши бедные тела
Дорогами земли, и приняла
Надежда наша ныне
Обличье миража в пустыне,—
Все, что манило, превратилось в бремя.

Злосчастные! Как поздно мы нашли,
Что та колдунья хочет за страданья
Нас обмануть миражем, ожиданьем,
Считая, что напрасно
Поверим мы обманщице прекрасной,
Не угадав в небесных ризах лжи.

Но если впрямь бесплодны ожидания.
Смиренно примем то, что шлет нам рок,
Из наших тягот извлечем урок
И робкою стопою
Бредя житейскою тропою,
Влачить мы будем наше прозябанье.

О нимфы Темзы, вы, что игры ваши
Ведете по зеленым берегам,
Позвольте с просьбой обратиться к вам
Дерзнуть попыткой смелой
Открыть для нас рукою белой
То, что судьба укрыла в этой чаше.

Как знать! Быть может, здесь, где с моря волны
Несут в своих быстринах Нереид,
Где в Темзе, снизу вверх, прилив стремится
Широкое течение,—
Предначертало провиденье
Замок снять с чаши, дивной влаги полной!

Одна из нимф взяла чашу в руки и, не предпринимая ничего другого, предложила ее нимфам, одной за другой, так как не нашлось ни одной, которая осмелилась бы первой открыть чашу. После этого, полюбовавшись чашей, все с общего согласия поднесли и предложили ее из почтения и уважения одной-единственной.

А эта, не столько для испытания своей славы, сколько из жалости и желания попытаться помочь несчастным, еще колебалась, волнуясь, как вдруг чаша открылась сама собой.

Вам хочется, чтобы я передал, как и сколько рукоплескали нимфы? Можно ли поверить, что я в состоянии выразить крайнюю радость девяти слепых, когда они услышали, что чаша открывается, ощутили течение струй желанной воды, открыли глаза, увидели два солнца и обрели двойное счастье? Одно состояло в возвращении когда-то потерянного света, другое в том, что вновь было найдено то, что само по себе уже могло показать им образ высшего блага на земле. Как хотите вы, чтобы я описал их радость, выраженную голосом, душой и телодвижениями, когда они и сами не смогли бы передать это?

Тут же началось зрелище буйных вакханалий наподобие тех, которые кажутся сновидениями и нереальностью.

Затем, когда несколько утих порыв восторга, они стали в круг и:

[73]

Первый заиграл на цитре и пропел следующее:

О кручи, о шипы, о бездны, о каменья,
О горы, о моря, о реки, о луга,—
Какие дивные таятся в вас блага!
Своею помощью не вы ли
Нам таинства небес открыли?
О, наших быстрых ног счастливое движенье!

Второй заиграл на мандолине и пропел:

О, наших быстрых ног счастливое движенье!
Цирцея дивная! О ты, венец трудов
Унылых месяцев, оплаканных голов!
О, дивных милостей отрада!
Она пришла для нас, награда,
За бремя стольких мук, и тягот, и томленья!

Третий заиграл на лире и пропел:

За бремя стольких мук, и тягот, и томленья
Мы в гавань прибыли, укрытую от бурь.
Восславим же теперь небесную лазурь!
Закрыло небо пеленою Наш взор с заботою одною:
Чтоб солнце сквозь туман явить нам в заключенье.

Четвертый заиграл на скрипке и пропел:

Чтоб солнце сквозь туман явить нам в заключенье,
На долгие года закрыл нам зренье мрак.
Вот цель, что выше всех земных утех и благ,—
Забота, полная тревоги,
Чтоб к свету нас вели дороги,
Чтоб к низким радостям забыли мы стремленья.

Пятый заиграл на испанском бубне и пропел:

Чтоб к низким радостям забыли мы стремленья,
Чтоб высшую мечту в желания вдохнуть,
Единственный для нас был уготовлен путь,
Который нам явил сегодня
Творенье лучшее господне, —
Заботливой судьбы здесь явно попеченье!

Шестой заиграл на лютне и пропел

Заботливой судьбы здесь явно попеченье;
К утехам от утех сплошной дороги нет,
И беды не ведут вслед за собою бед;
Все движется, коловращаясь,
То поднимаясь, то спускаясь,
Как день и ночь ведут чередой свои явленья.

Седьмой заиграл на ирландской арфе и пропел:

Как день и ночь ведут чередой свои явленья,
Как прячет в темноте покров светил ночных,
И солнечный полет, и блеск лучей дневных,
Так правящий судьбой вселенной
Законом силы неизменной
Несет простым венец, а знатным унижение.

Восьмой заиграл смычком на виоле и пропел:

Несет простым венец, а знатным унижение
Тот, кто механике пространств дал точный ход,
Кто быстро, медленно иль мерно их ведет,
Вращенье их распределяя,
С пределом масс соизмеряя.
Загадки естества раскрылись постижению!

Девятый заиграл на рожке:

Загадки естества раскрылись постиженью!
Не отрицай, — скажи, что близится конец
Безмерному труду, что уж готов венец
Ему среди пространств веселых,
Средь гор и рек, в лесах и в долах,
Где кручи, где шипы, где бездны, где каменья?

После того как каждый в этом же роде, играя на своем инструменте, спел свою секстину, все вместе, приплясывая в хороводе и играя в честь единственной Нимфы, с нежнейшей гармонией пели песню, которую, не уверена, точно ли я запомнила.

Юлия. Дай же мне, пожалуйста, сестра, послушать то, что припомнишь.

Лаодомия.

Песнь прозревших

[74]

«Зачем питать мне зависть к небесам,—
Сказал Нептун, надменно улыбаясь,—
Когда так полно наслаждаюсь,
О Зевс, я тем, чем обладаю сам?»

«А чем ты горд? — ответил Зевс ему,—
Свои богатства чем ты приумножил?
Чем буйство волн ты растревожил?
И спесь твоя раздулась почему?»

«Пусть ты царишь, — сказал властитель вод,—
В том светозарном небе, где пылает
Стезя, которой пробегает
Твоих светил несметный хоровод;

И пусть меж ними солнце — всех светлей;
Однако же оно не так прекрасно,
Как та звезда, которой властно
Я вознесен над гордостью твоей.

В моих водах, не знающих преград,
Лежит страна-счастливица, в которой
Струится Темзы ток нескорый,
Пристанище прелестнейших наяд;

Средь них одна — других стократ милей;
И даже ты, о грозный Зевс, не споря,
Отвергнешь небо ради моря,
Чтоб видеть солнце меркнувшим пред ней!»

Но Зевс ответил: «Не допустит рок,
Чтоб кто-либо затмил меня блаженством!
Однако можешь ты равенством
Мне уподобиться, о водный бог:

Твоя Наяда — солнце вод твоих;
Но и по тем же вековым законам,
В другой стихии отраженным,
Она есть солнце и для звезд моих!»

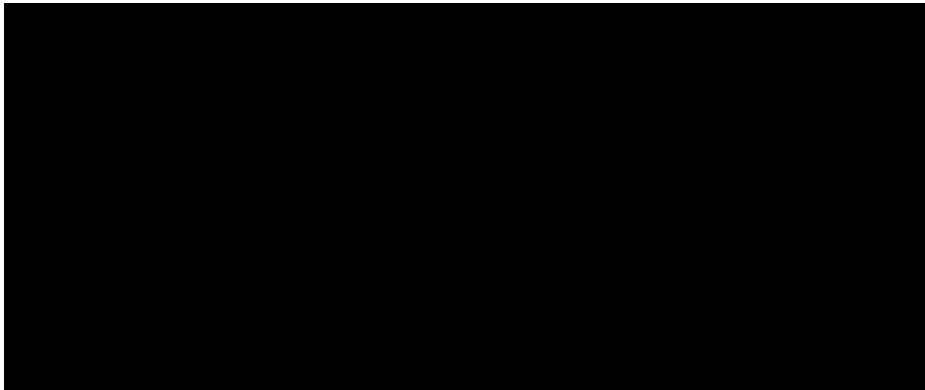
Юлия. Следует признать, что у нас с тобой достаточно данных как для заключения нашей темы, так и для стихов, требуемых при окончании стансов.

А если я со своей стороны, по милости неба, обрела красоту, то полагаю, что мне этим оказана большая милость; ведь какова бы ни была моя красота, она стала в известной мере орудием для открытия другой, единственной и божественной красоты. Я благодарна богам за то, что, пока я была еще такой незрелой и пламя любви не могло вспыхнуть в моей груди, столько же в силу упрямства, сколько в силу простой невинной жестокости, я нашла средство, чтобы оказать несравненно большие милости влюбленным в меня, чем они могли бы получить иным путем, как бы велика ни была моя благосклонность.

Лаодомия. Что касается душ этих влюбленных, то я еще раз уверяю тебя, что при всей их благодарности к волшебнице Цирцее за мрачную слепоту, за несчастные мысли и суровые усилия, при помощи которых они достигли такого блага, они не могут не испытывать большой признательности и к тебе.

Юлия. Этого я и желаю и на это надеюсь...

Конец второй и последней части



Рассуждения о пяти диалогах первой части

В первом диалоге первой части — пять разделов, следующих в таком порядке. В первом разделе обрисованы причины и основные внутренние побуждения, которые обозначены и представлены в виде горы, реки и муз и которые заявляют о своем присутствии не столько тем, что их поминают, зовут и ищут, сколько тем, что они многократно и настойчиво сами по себе предстают перед нами; а это должно означать, что божественный свет всегда имеется близ нас, всегда предстает нам, всегда зовет нас, стучит в двери наших чувств и других познавательных и воспринимающих сил. Именно на это и указывается в «Песни Песней» Соломона, где говорится: Вот он стоит у нас за стеною, мелькает сквозь ставни, заглядывает в окна. Вследствие разных причин и препятствий часто бывает, что он так и остается снаружи и задерживается там. Во втором разделе показывается, каковы субъекты, объекты, страсти, орудия и итоги, с помощью которых этот божественный свет вводит себя, выявляет себя и овладевает душой, возвышая ее и обращая к богу. В третьем разделе — изъяснение, определение и назначение, которые создает себе хорошо осведомленная душа относительно единой, совершенной и конечной цели. В четвертом — внутренняя война, которая идет вслед за этим и разрешается против духа после такого изъяснения, о чем опять-таки говорится в «Песни Песней»: «Не смотрите на меня, что я смугла: ибо солнце опалило меня, сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Такие объяснения даются лишь в отношении четырех руководителей, каковы: склонность, фатальное сближение, существо добра и угрызение совести; а за ними следует множество военных обрядов с чрезвычайно противоположными, несхожими и разными властями, с их слугами, средствами и органами, входящими в общий состав. В пятом разделе развивается естественное воззрение, в котором показано, что всякое противоречие разрешается дружбой противоположностей, либо в итоге победы одной из них, либо в итоге гармонии и взаимных уступок, либо же в итоге какого-нибудь иного превращения; всякий спор сводится к согласию, всякое

многообразие — к единству; такое учение развивается нами в других диалогах.

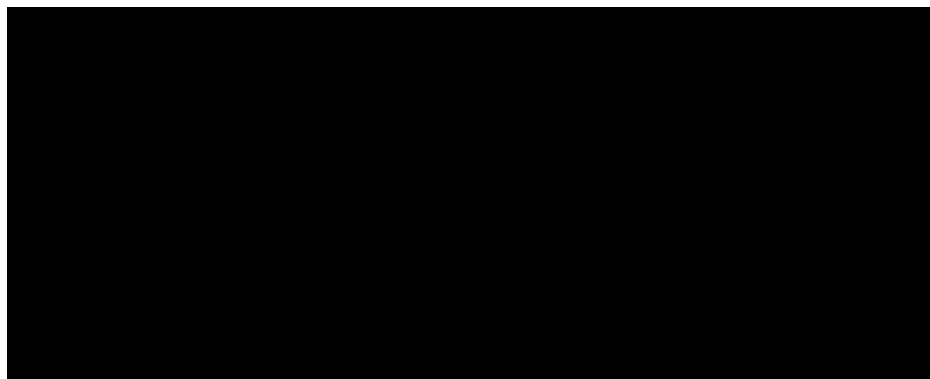
Во втором диалоге более подробно описывается порядок и действие борьбы, которая лежит в существе этого сочинения об Энтузиасте. В первом разделе показаны три рода противоречий: первое — страсть и действие в сопоставлении с другой страстью и другим действием, как, например, холодные надежды и горячие желания; второе — те же самые страсти и действия в самих себе не только в разное, но в одно и то же время, например, когда каждая не довольствуется собой, «о ждет еще другой и одновременно любит и ненавидит; третье противоречие между силой, которая преследует и стремится к своей цели, и объектом, который убегает и ускользает. Во втором разделе выявляется противоречие как бы двух противоположных импульсов вообще, к которым относятся все частные и подчиненные противоречия, например, когда в двух местах и местопребываниях противоположности поднимаются и опускаются и, наоборот, когда в целостном составе из-за различия склонностей различных частей и разницы их расположений одновременно идет подъем и снижение, продвижение и отступление, уход от себя и замыкание в себе. В третьем разделе идет речь о последствиях таких противоречий.

В третьем диалоге раскрывается, какую силу имеет воля в этой борьбе, ибо лишь воля может приказывать, начинать, проводить и заканчивать. О ней-то и поется в «Песни Песней»: Встань, быстрая голубка моя, и приди: вот уже зима прошла, дождь миновал, цветы показались на нашей земле, настало время подчистки деревьев. Эта сила — воля — подчиняет другие силы многими способами и особенно самую себя, когда в самой себе отражается и удваивается, как — в том случае, когда хочет хотеть, и ей нравится, что она хочет того, чего хочет, так и в том случае, когда она отступает, ибо не хочет того, чего хочет, и ей не нравится, что хочет того, чего хочет. Так она во всем и всегда одобряет то, что хорошо, и в той мере, в какой это ей указывает закон природы и справедливость, равно как она действительно не одобряет того, что не соответствует этому. Именно это и объясняется в первом и во втором разделах. В третьем разделе виден двойной плод такой деятельности, согласно чему (в результате склонности к сближению и к отталкиванию) вещи высокие становятся

низкими, а низкие становятся высокими, когда, например, говорится, что силою головокружительного взлета и превратного результата это пламя преобразуется в воздух, в пар и в воду, а вода источается в пар, в воздух и в пламя.

В семи разделах четвертого диалога рассматривается порыв и сила ума, который увлекает за собой страсть и прогресс мыслей сложного энтузиазма и страстей души, находящейся во власти столь беспокойного общества. Здесь становится ясным, кто является охотником, птицеловом, хищным зверем, собакой, птенцами, логовищем, гнездом, скалой, добычей и — для завершения стольких усилий — что есть мир, отдых и желанная цель такой мучительной коллизии.

В пятом диалоге описывается состояние Энтузиаста в этот период и показывается порядок, смысл и условия его усилий и его судеб. В первом разделе об этом говорится, поскольку надо преследовать ускользающий объект. Во втором разделе — поскольку дело касается постоянного и неослабевающего соучастия страстей. В третьем разделе говорится о высоких и горячих, хотя и бесплодных намерениях. Четвертый раздел говорит о добровольном желании. Пятый раздел — о быстрой и сильной защите и сотрудничестве. В следующих разделах показаны с разных сторон условия его судьбы, усилий и состояний, равно как их основания и пригодность, что пояснено при помощи антитез, уподоблений и сравнений, сделанных в каждом из этих разделов.



Рассуждения о пяти диалогах второй части

В первом диалоге второй части ведется изучение приемов и причин состояния героического Энтузиаста. Здесь в первом сонете описано состояние его под колесом времени; во втором сонете испрашивается извинение за увлечение неблагородным занятием, и за недостойную обремененность разными заботами, и отсутствие времени; в третьем сонете осуждается бессилие его трудов, которые, правда, были изнутри освещены превосходством объекта, однако сам объект был ими омрачен и затуманен; в четвертом оплакивается бесполезное усилие душевных способностей в ту пору, как Энтузиаст пытается побороть несоответствие своих возможностей тому состоянию, к которому он стремится и которое представляет себе; в пятом сонете опять вспоминается противоречие и внутренний конфликт, который наличествует в субъекте, в силу чего он не может полностью устремиться к цели или к концу; в шестом выражено желанное чувство; в седьмом рассматривается малое соответствие между желающим и желаемым; в восьмом взору представлено душевное раздвоение, вытекающее из противоположности — внешних и внутренних вещей меж собой, вещей внутренних в самих себе и вещей внешних в них самих; в девятом сонете разворачивается состояние и темп течения жизни, обычные для действия высокого и глубокого созерцания, чем, однако, не нарушается прилив и отлив растительной жизни, а душа находится в устойчивом и как бы спокойном состоянии; в десятом сонете — порядок и способ, в которых героическая любовь иной раз на вышеуказанное состояние нападает, ранит и раздражает; в одиннадцатом — множество частных видов и идей» показывающих превосходство их единого источника, в силу чего возбуждается страсть к возвышенному; в двенадцатом показывается обусловленность человеческого стремления к божественным предприятиям, ибо многое презюмируется до того, как войдешь в них; в самом вхождении, когда в дальнейшем внедришься в это дело и больше войдешь вглубь, то жаркий дух презумпции начинает глхнуть, нервы ослабевают, средства становятся недействительными, мысли снижаются, намерения выдыхаются и душа остается смущенной, побежденной и опустошенной. Об этом-то и сказано Мудрецом: Кто исследует

величие, тот бывает подавлен славою его. В последнем сонете еще более ясно выражено то, что в двенадцатом показано © уподоблениях и образе.

Во втором диалоге имеется один сонет и один разговор, где речь идет об особенностях первого мотива, который покоряет сильного, расслабляет твердого и ставит его под любовную власть Верховного Амура, причем прославляется такая бдительность, настойчивость, разборчивость и цель.

В третьем диалоге в четырех вопросах и четырех ответах сердца очам и очей сердцу говорится о бытии и модусе способностей познания и стремления. Здесь показывается, как воля пробуждается, направляется, движется и руководится сознанием, и взаимно: как сознание возбуждается, формируется и оживляется волею; так что идет впереди то одно, то другое. Здесь рождается сомнение насчет того, что имеет большую значимость: интеллект или вообще познавательная способность, или акт познания, или же воля, или вообще способность желать, или даже страсть; и можно ли любить сильнее, нежели понимать; а также означает ли, что все то, что в известной мере желаемо, вместе с тем в той же мере и познаваемо или же, наоборот, в силу чего принято звать желание познанием, как мы это видим у перипатетиков, учение которых нас воспитывало и питало з юности и которое называют познанием, все это начиная с желания возможного и естественного действия; откуда все следствия! цели и средства, начало, причины и элементы делят на начальное, среднее и окончательно известные по их природе, в которых участвуют в конце концов совместно и желание и познание. Здесь предполагается бесконечное могущество материи и помощь действия, которое не дает оставаться этому лишь пустой возможностью. Таким образом, здесь нет определения действия воли по отношению к добру, подобно тому как бесконечно и неопределимо действие познания по отношению к истине; в силу этого сущность, истина и добро взяты в одном и том же значении по отношению к одной и той же обозначенной вещи.

В четвертом диалоге изображены, а кое-где и объяснены новые основания неспособности, несоответствия и ошибок человеческого взгляда и познавательной силы в отношении божественных дел. Здесь в первом слепом — слепом от рождения — отмечается причина, которая лежит в его природе и унижает и давит его. Во втором,

ослепшем вследствие отравления ядом ревности, указывается, что из-за вспыльчивости и похотливости он отклоняется и сбивается с пути. В третьем, ослепленном внезапным появлением сильного света, показано, что это происходит от яркости предмета, который его помрачает. У четвертого, выросшего и воспитанного в длительном созерцании солнца, слепота появляется от слишком глубокого созерцания единства, которое его швырнуло к толпе. У пятого, глаза которого всегда переполнены частыми слезами, указано несоответствие его сил и объекта, которое мешает ослепшему. У шестого, у которого исчезла зрительная органическая влага вследствие того, что он много плакал, изображается недовольство настоящей умственной пищи, что его ослабило. У седьмого, очи которого испепелены пылом сердца, отмечена жаркая страсть, часто рассеивающая, ослабляющая и пожирающая способность различения. У восьмого, ослепшего от ранения одного места стрелой, произошедшего* от самого акта соединения с объектом, последний побеждает, портит и извращает познавательную способность, уничтоженную ударом и падающую под его давлением; поэтому не без основания его зрение иногда описывается, как взгляд на пронизывающую молнию. У девятого слепого, который, поскольку он к тому же еще и нем, не может объяснить причину своей слепоты, указывается причина причин: тайное божественное решение, давшее людям усердие и исследовательскую мысль; откуда следует, что этому слепцу нельзя никогда подняться выше сознания своей слепоты и невежества и что более достойно уважать свое молчание, нежели речь. Это не дает извинения и поощрения обыкновенному невежеству, ибо тот вдвойне слеп, кто не видит своей слепоты; и в этом <и состоит отличие прозорливо-прилежных людей от невежественных ленивцев; такие лентяи погружены в летаргию из-за отсутствия суждения о своем невидении, а изучающие — предусмотрительны, бодрствуют и благоразумно судят о своей слепоте, и поэтому они пребывают в процессе исследования и стоят у дверей приобретения света, от которых надолго отогнаны ленивцы.

Рассуждение и аллегория пятого диалога

В пятом диалоге выведены две женщины, которым (по обычаю моей родины) не подобает заниматься комментариями,

рассуждениями, расшифровываниями и быть много знающими и учеными, присваивая себе обязанность поучать мужчин и устанавливать для них учреждения, правила и учения, но скорее приличествует гадать и пророчествовать, если иногда имеется у них в теле дух; в общем же им достаточно только отражать образы, предоставляя какому-нибудь мужскому уму мысль и труд выяснения изображенного. И вот, чтобы облегчить или же освободить их от затруднения, я даю понять, как здесь девять слепых по обязанности и по внешним обстоятельствам, равно как и по многим другим субъективным различиям, проходят с другими значениями, нежели девять слепых из предыдущего диалога, и соответственно общепринятому представлению о девяти сферах они показывают число, порядок и различие всех вещей, существующих под абсолютным единством, в которых и над которыми упорядочены все свойственные им интеллектуальные силы, каковые, по некоему аналогичному подобию, зависят от первой и единственной. Каббалистами, халдеями, магами, платониками и христианскими богословами все делятся на девять разрядов по степени совершенства числа, господствующего в мире вещей и некоторым образом все оформляющего; поэтому, согласно простому основанию, они действуют так, чтобы божество выразило себя и, согласно отражениям и квадратуре в себе, было бы обозначено число и сущность всех зависимых вещей. Все наиболее знаменитые созерцатели — являются ли они философами, или богословами, высказывают ли рассуждения собственного ума, или же внушения веры и высшего озарения, — все они понимают эти интеллектуальные силы, как чередование подъема и спуска. Далее платоники говорят о том, что происходит при некотором превращении, а именно: те, что находились над судьбой, оказываются под судьбой в течение известного времени и мутаций, а другие отсюда поднимаются на их место. То же превращение обозначено пифагорийским поэтом, когда он говорит:

По истечении тысячелетнего века те души
Бог призывает великой толпою к источнику Леты,
Чтоб возвратились, и ожили вновь, и вновь
воплотились.

Здесь, как утверждают некоторые, обозначено место, высказанное в откровении, что дракон будет побежден и посажен на цепь на тысячу лет, а по истечении их будет освобожден. Утверждают, что так же значение имелось в виду во многих других местах, где означенное тысячелетие именно так (буквально) и помянуто и обозначено то одним годом, то стадией, то эпохой, то каким-либо иным образом. К тому же, разумеется, само тысячелетие понимается вне соответствия с определенным оборотом солнечных годов, но по различным основаниям разных мер и порядков, по которым распределяются разные вещи; ведь звездные годы столь же различны, как неодинаковы и виды разных частностей. А что касается самого явления такого оборота, то среди христианских богословов распространено мнение, что у каждого из девяти разрядов ангельских низвергается множество легионов в низкие и темные области; и дабы те престолы духов не оставались незанятыми, божественное провидение хочет, чтобы души, живущие в человеческих телах, были вознесены на ту высоту. Однако среди философов один только Плотин говорит с ясностью, как все великие богословы, что такой поворот бывает не везде, не всегда, а только один раз. А из богословов только Ориген, как все великие философы, после саддукеев и многих не-признаваемых других, осмелился сказать, что революции и превращения вечны и что все поднимающееся вновь спустится, как это мы видим у всех элементов и вещей на поверхности, в недрах и в утробе природы.

Так, по чистой совести, я говорю и утверждаю в полнейшем согласии с богословами и знатоками законов и человеческих учреждений, что именно таково их мнение, равно как я не премину подтвердить и принимать мнение тех немногих, благих и мудрых, которые высказывают это в согласии с естественным разумом. Мнения их заслуженно вызывают порицание из-за того, что они разглагольствуют перед толпой, поскольку ее с трудом можно сдерживать от пороков и подталкивать к добродетельным поступкам при помощи веры в вечные муки; что же было бы, если б толпа убедилась в незначительности награды за героические и гуманные деяния и в слабом наказании за преступления и злодеяния?

Чтобы подойти к завершению этого моего рассуждения, скажу, что здесь лежит причина и выявление слепоты и зрячести этих девяти, — то зрячих, то слепых, то прозревающих, которые то соперничают под

сенью и на следах божественной красоты, то совершенно лишены зрения, то при более ясном свете мирно пользуются им».

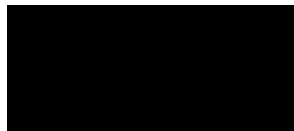
Когда они пребывают в первом положении, то вводятся в залу Цирцеи, которая означает всепорождающую материю. Она же названа дочерью солнца, потому что от этого отца всех форм обретает наследие и владение всем тем, что при посредстве окрапливания влагой, то есть актом рождения, силою очарования, то есть тайного гармонического разума, меняет все, делая слепых видящими. Ведь порождение и разрушение — причина забвения и слепоты, как это объясняют древние, изображая души, которые омываются и опьяняются в Лете.

Затем, когда слепые жалуются, говоря: Дочь и мать тьмы и ужаса, — этим дается обозначение смятенья и печали души, потерявшей крылья, сломавшей их, когда она надеялась укрепить их. Там, где Цирцея говорит: Возьмите у меня другую мою чашу судьбы, имеется в виду, что слепые носят с собой определение и судьбу своего изменения, почему и сказано, что это поднесено им самой Цирцеей; ведь одна противоположность проистекает из другой, хотя и не находится в ней на самом деле, поэтому она и говорит, что собственной своей рукой она не может открыть ее, однако позволяет другим совершить это. Это означает также, что есть два вида вод: нижние, под сводом небесным, ослепляющие, и высшие, над небосводом, просветляющие: это — те, которые обозначены у пифагорейцев и платоников, как опускающиеся на одном тропике и поднимающиеся на другом. Там, где она говорит: вширь и вглубь странствуйте по миру, ищите все многочисленные царства, это означает, что нет непосредственного прогресса при переходе от одной формы к противоположной и нет немедленного регресса при переходе от одной формы к другой, в силу чего надо пройти если не через все формы, которые имеются в круге естественных видов, то во всяком случае через многие из них.

Здесь имеются в виду прозревшие для видения объекта, в котором сходится троика совершенств, а именно: красота, мудрость и истина, опрысканная водами, именуемыми в священных книгах водами мудрости, потоками воды вечной жизни. Они находятся не на континенте земного шара, но далеко в глубине, вполне отделенной от земли, в лоне Океана, в груди Амфитриты, божества, где имеется река,

которая представляется истекающей от божественного престола и имеющая не обычное, натуральное, а иное течение. Там есть нимфы, то есть блаженные и божественные интеллектуальные силы, которые сопровождают и обслуживают первую интеллектуальную силу, являющуюся как бы Дианой среди нимф пустынь. Только одна она среди них способна, вследствие тройной добродетели, распечатать всякую печать, развязать всякий узел, открыть всякую тайну, отпереть любую запертую вещь. Она одним своим присутствием и двойным сиянием блага и истины, добра и красоты удовлетворяет все воли и умы, опрыскивая их благотворными водами очищения. Пение и звон естественны там, где девять интеллектуальных сил, девять муз, соответствуют расположению девяти сфер, где первая созерцает себя в гармонии каждой из остальных, которые продолжают себя в гармонии других; ведь конец и край высшего есть начало и глава низшего, ведь между одним и другим нет середины и пустоты, и конец последнего путем круговращения совпадает с началом первого. Ведь тождественны самое ясное и самое темное, начало и конец, высочайший свет и глубочайшая пучина, беспредельная возможность и беспредельное действие, согласно соображениям и модусам, развитым нами в других местах.

Вслед за этим созерцается гармония и созвучие всех вместе сфер, интеллектуальных сил, муз и инструментов, где небо, движение миров, творения природы, беседа умов, созерцание мысли, установление божественного провидения — все согласованно прославляет высокую и великолепную изменяемость, которая приравнивает воды низшие к высшим, сменяет ночь на день и день на ночь, дабы божество пребывало во всем, в том модусе, при котором все способно стать всем, и бесконечное благо бесконечно приобщает себя соответственно всей способности вещей.



Примечания

1

Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1952, стр. 4.

2

В. И. Ленин, Философские тетради, Госполитиздат, 1947, стр. 303.

3

Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, Госполитиздат, 1949, стр. 48–49.

4

Пометка на фронтисписе «Париж у Антонио Байо» является фиктивной.